

ISSN 0130-3600

საქართველო  
საბჭოთავო

# ЛИТЕРАТУРНА ГРУЗИЯ

# 4

1984

10.335/  
1984/3





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
КОНСТАНТИН УСТИНОВИЧ ЧЕРНЕНКО



10.335/  
1984/3  
11105040  
1120110330

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ.** Тбилисские хроники. Стихи.  
Перевод Наталии Соколовской . . . 3
- ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ.** Одолей алчность свою.  
Роман. Перевод Камиллы Коринтэли . . . 8
- НИНО КУТАТЕЛАДЗЕ.** Стихи. Перевод Наталии  
Дардыкиной . . . . . 71
- ГУРАМ ДОЧАНАШВИЛИ.** Ватер/по/лоо, или вос-  
становительные работы. Фантастическая по-  
весть. Перевод Маргариты Гржен-  
дзица . . . . . 75
- ИГОРЬ ЭБАНОИДЗЕ.** Стихи. Вступительная статья  
Юнны Мориц . . . . . 119

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ДАЛИ ИНЦКИРВЕЛИ.** Ему еще многое есть сказать.  
Перевод Хатуны Лутидзе . . . . . 125
- НОДАР ЧОЛОКАВА.** Специфика исторического ро-  
мана . . . . . 132
- БЕСИК ПИПИЯ.** «Тбилиси! Я тобой клянусь!» . . . 135

4

1984



ВИЛЛИ КАЧАРАВА. С общегосударственных по-  
зиций . . . . . 139

ОЧЕРК

ПААТА НАЦВЛИШВИЛИ. Внук. Перевод Татья-  
ны Датукишвили . . . . . 145

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР АЛПЕНИДЗЕ. Возрожденный, обновлен-  
ный... . . . . . 160

ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

ВЛАДИМИР ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Аристократ интеллек-  
та. Эдгар По. . . . . 164

РЕЦЕНЗИИ

ЛАДО АВАЛИАНИ. Еще одна монография о заме-  
чательном художнике . . . . . 176

ВАХУШТИ КОТЕТИШВИЛИ. «Фиалки на горе» . 185

ГЕОРГИЙ КУРБАТОВ. Мир греческого рыцарского  
романа . . . . . 187

А. ЕРЕМЕЕВ. Художественное как способ челове-  
ческого проявления . . . . . 193

ШАЛВА ГОЗАЛИШВИЛИ. Роман о жизни грузин-  
ских шахтеров . . . . . 194

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

МЕДЕЯ НОНЕШВИЛИ. Страницы дружеской пере-  
писки . . . . . 197

РУСУДАН ЗАЙЦЕВА-ШЕРВАШИДЗЕ. Разум и серд-  
це — Родине . . . . . 202

ИСКУССТВО

НАНА МИРЦХУЛАВА. У истоков . . . . . 214

ХРОНИКА . . . . . 222



# ТБИЛИССКИЕ ХРОНИКИ

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ

## Вступление

126.283

Моих орнаментов исток —  
среди твоих долин пригожих,  
где улыбается прохожим  
лозы лукавый завиток.  
Там колосятся девять нив  
и девяти дубам не спится,  
и, тень на землю уронив,  
летит задумчивая птица.  
Там ежедневный труд со мной.  
Мне больше ничего не надо.  
Но дышит за моей спиной  
большое тело снегопада.  
И все, что мне поведал он,  
не подлежало разглашенью.  
Он поглотил меня, как сон,  
как боли темное движенье.  
А рядом жил привычный мир,  
но я в тепло его не верил.  
Я избегал его квартир,  
не шел в распахнутые двери.  
За мною мчался снегопад  
и заметал следы погони,  
и слез моих горящий ад  
держал в немеющей ладони.

## Воспоминание издалека



Я далеко.  
Я принят в стаю птиц,  
чья речь густая стала мне понятна.  
Внизу, как ряд полузабытых лиц,  
мелькают городов ночные пятна.  
Вернемся ли? Погибнем? Никому  
не ведомы итоги зимованья.  
Дорога предоставила уму  
смятенье и глухие упованья.

Так я лечу на привязи тоски.  
А память, заглядевшись на Тбилиси,  
как школьница, привстала на носки  
у озера с названьем тихим Лиси.

Так я лечу, держа перед собой  
пространство без конца и без начала.  
О, если бы сейчас из Ортачала  
увидеть крыш веселый разнобой!

Так я лечу и вспоминаю дом.  
И ветер Грузии у сердца веет,  
пока мелькают под моим крылом  
туманные Монмартры и Бродвеи.

Теперь и мне понятен этот миг,  
когда в бестрепетной осенней выси  
лишь ласточки кружатся над Тбилиси  
и голос их срывается на крик.

●

Что спеть тебе, когда ты просишь — «Пой!»  
Смеркается. Тяжелый, грозовой,  
последний свет на плечи мне ложится.  
А в небесах невиданная птица  
летит и называется судьбой.  
Что спеть тебе, когда ты просишь — «Пой!»  
Настала ночь. Вода в озерах стынет.  
И я собрался петь. Но, сам не свой,  
не песнею нарушил твой покой,



а гласом вопиющего в пустыне.  
Что спеть тебе, когда ты просишь — «Пой!»  
Я позабыл названия растений  
и собственное имя. Только тени  
меня везде преследуют гурьбой.  
Что спеть тебе, когда ты просишь — «Пой!»  
Пусты леса, безжизненны долины.  
Но их омыл любви моей прибой.  
И я запел. И, словно сам собой,  
возник на горизонте клин утиный...

●

Тысяча пятьсот лет,  
тысяча пятьсот лет,  
тысяча пятьсот лет,  
словно сквозь листву — свет,  
словно борозды след,  
радостей, надежд, бед —  
тысяча пятьсот лет,  
тысяча пятьсот лет.

●

Кура лежит, как плащ,  
забытый Горгасалом.  
Ночь замедляет шаг  
еще в районе Мцхет.  
Пространство впереди  
сверкает желтым, алым,  
зеленым и таким,  
чему названья нет.  
Мне город кажется  
разломленным гранатом,  
когда в любом зерне  
играет жаркий свет.  
Он зыбится, летит,  
стекает вниз по скатам,  
и падает в Куру,  
и обрывает след.  
Мерцаньем янтаря  
пронизан спелый воздух.  
Кругом не свет дрожит,

а райской птицы трель.  
Когда настанет ночь,  
обступят город звезды,  
как дети — к рождеству  
украшенную ель.



●

Нас гул машин разбудит на заре,  
а синевой омытые платаны  
разбудят птиц проспекта Руставели,  
где на асфальте подсыхает лужа,  
похожая на хаши без копыт,  
такое, что дают на Авлабаре.  
Но хашные повсюду закрывают.  
Копыт уже давно в помине нет,  
как, впрочем, и хрящей...  
А словом «хаши»  
когда захочешь зрение утешить,  
перелистай двухтомник Евтушенко.

●

Мост перепрыгнул реку,  
рванулся и пропал.  
Меня доверил полночи горячей.  
Мерцает предо мной  
речной воды опал,  
кустарник простирается незрячий.  
И вновь моя печаль  
ведет минутам счет.  
И память продирается сквозь тени.  
И дума о тебе  
в душе моей растет,  
колышется и дышит, как растенье,  
Все освещает боль,  
подобная лучу.  
Она одна главенствует над нами.  
Я больше не хочу  
вступать в борьбу с волнами,  
но следовать за ними я хочу.  
И, растворяясь в них,  
хочу свою печаль



избыточной наполнить глубиною.  
Вот и луна взошла.  
Метехи, как мне жаль  
всего, еще не сказанного мною.  
Но прежде чем уйти  
в глухую пустоту,  
я оглянусь, запомню эти склоны.  
И лунный блик на них.  
И темные балконы.  
И чей-то плач невнятный на мосту.

●

Ты совершаешь свой полет  
там, где звезда мерцает чутко.  
Я только зрение твоё,  
твой слух, твоё шестое чувство.

Тебе прямых сравнений нет.  
Все будет сказано впустую.  
И все-таки — ты словно свет,  
сквозь тьму прорвавшийся густую.

Столетия над тобою мчат.  
И горы высятся сурово.  
И на алгетских склонах снова  
растят и пестуют волчат!

Перевод Наталии СОКОЛОВСКОЙ



Георгий ЦИЦИШВИЛИ


# ОДОЛЕЙ АЛЧНОСТЬ СВОЮ

Р о м а н

Перевод  
Камиллы КОРИНТЭЛИ

---

Печатается первая часть,  
полностью роман выходит в  
издательстве «Мерани».

 В САМОМ сердце  
Внутренней Карт-  
ли, там, где зеленый от-  
рог Триалетского хреб-  
та наискось спускается  
к Куре, суживая благо-  
датную Картлийскую до-  
лину, на просторном по-  
логом склоне, утопая в  
садах и виноградниках,  
привольно раскинулось  
старинное село Самеба.

Самеба считается од-  
ним из древнейших по-  
селений в Грузии, а за  
его крепкими, мужест-  
венными, разумными и  
зажиточными обитате-  
лями спокон веку идет  
добрая молва.

Тамошние мужчины,  
рослые, сильные, степен-  
ные, отличаются радиво-  
стью и трудолюбием,  
щедростью и хлебосоль-  
ством. В старину они  
известны были и ратным  
своим искусством. От-  
важные, смелые и на  
редкость выносливые,  
они были доблестными  
воинами. И, как бы в па-  
мять о былых временах,  
в каждом самебском до-  
ме по сей день на видном  
месте, на настенном ков-  
ре красуется оружие —  
скрещенные сабли или  
мечи. Вместе с тем са-  
мебцы замечательные  
земледельцы — садоводы



и хлебопашцы. Они гордятся тем, что именно в их краях — древнейшей житнице Грузии в незапамятные времена был выведен совершенно особый сорт пшеницы, так называемый «долис пури», необыкновенно устойчивый и живучий. Из поколения в поколение старики рассказывают, как некогда, во времена вражеских нашествий, пронесется, бывало, конница по хлебному полю, и кажется, копыта мчавшихся во весь опор коней затоптали, сгубили ниву, а нет: пройдет неделя, и постепенно подымутся, восстанут полегшие стебли, воспрянут, и снова наливаётся колос золотым зерном.

«Долис пури» не только живуч — хлеб, испеченный из его муки, удивительно вкусен и благодаря особой породе сорняка, придающего ей голубоватый оттенок, очень долго не черствеет и не плесневеет.

Женщины Самеба славятся красотой и домовитостью. Навряд ли в Картли найдется отец семейства, который не рад был бы ввести в свой дом невестку из Самеба. И правда, куда бы ни забросила судьба дочерей этого села, статных, полногрудых и широкобедрых, с удивительно тонкой талией, с медовыми глазами и каштановыми волосами, повсюду сверкают они, как алмаз, и мало кому удается их затмить. Впрочем, самецбы крайне редко отдают своих девушек замуж на сторону, и множатся в Самеба ребятишки с медовыми глазами и каштановыми волосами.

Благодать коренных жителей Самеба объясняют по-разному: иные приписывают ее целебным свойствам местных родников, иные — закаляющей силе курной волны, иные — сытости здешнего колоса, а иные — сочетанию горного и долинного воздуха.

Воздух здесь и вправду удивительный. Жарким летом, когда на долины Картли нисходит палящий зной, когда от засухи трескается земля и сохнут сады и трава становится желтой и ломкой, а раскаленный воздух тяжел и неподвижен и ни один листочек не шелохнется на поникших деревьях, в благословенной Самеба не пересыхают студёные родники, а по вечерам ветерок с гор приносит живительную прохладу.

Так оно или этак, но все самецбское еще издревле ценилось высоко. Тому способствовала и былая слава

этих мест: Самеба упоминается во многих древних летописях и самецы гордятся, помимо всего, историей своего села.

Здесь все от мала до велика знают, что некогда, во времена первого вторжения в Грузию монголов, у околицы Самеба, так называемой Кошкеби, грузинское войско наголову разбило и обратило в бегство монгольские орды; что именно самецы преградили путь атабагу Кваркварэ, заставив его перейти вброд Куру и принять неравный бой у соседнего села Арадэти, где он и был разбит; что в окрестностях Самеба объединенные войска Зураба Эристави и Баадур Ццишвили нанесли жестокое поражение лучшему полководцу грозного Шах-Аббаса, знаменитому Корчи-баши, уничтожив четырнадцать тысяч персов; что кизилбаши предали огню вековой самецкий лес и сожгли его дотла. Более двух месяцев горел лес — хранитель и кормилец села. Гибель его бежавшие в горные теснины крестьяне оплакивали горше, чем свои спаленные дома...

Впоследствии земли эти на северном склоне горы (а северные склоны в Картли всегда более солнечные и, следовательно, более благоприятные для земледелия) стали использовать под пашни. Ахо — так называются ныне возделываемые бывшие пожарища. Там повсюду зеленели виноградники и колосились нивы, но на одном обширном склоне, обугленном персами, кроме чертополоха и репея-татарника, ничего не приживалось.

Удивительно было то, что по этому безжизненному склону несся полноводный ручей, исток которого скрывался где-то глубоко под землей, однако даже и вдоль ручья не росло ни травинки. Самецы называли ручей Чертовым и воду его не только сами не пили, но и скотину близко к нему не подпускали.

Склон, обожженный языками огня, народ прозвал Проклятым или Персовым полем. Этот склон-пустошь, резко выделяясь среди разноцветного моря пашен, садов и виноградников, сразу бросался в глаза.

Предание гласит, что некогда именно на этом поле раскинуло свои шатры персидское войско. Все лето простоял там вражеский лагерь, и все лето персы изощрялись в злодеяниях.



С той далекой поры и шла об этом поле худая молва. Люди стороной обходили его, старики уверяли, что Персово поле — нечистое, богом проклятое место, что оно не только на людей, и на скотину порчу напускает.

Предание гласит также, что в конце концов, когда терпение самбцев исчерпалось, они восстали против захватчиков, призвали на подмогу чуть не всю Картли, напали на вражеский стан и перебили превосходивших их численно персов всех до единого, так что и весть отнести в Персию оказалось некому.

В разгар ранней весны, когда окрестность покрывалась яркой зеленью, унылое, серое Персово поле, немилосердно палимое солнцем, выглядело безрадостным и мрачным, точно преддверие ада.

Зато здесь цвели удивительно крупные маки. Но цветение их было кратковременным: в начале мая загорался маков цвет, а в начале июня маков не было и в помине. Старые люди говорили: это кровь персов брызжет из земли.

Потому не любили в Самеба мак.

Если кому-нибудь из сельчан приходилось идти этим полем в пору цветения мака, он по пути, сколько руки хватало, кизилковым прутом, который самец всегда носил при себе, как в древности меч, ихлестывал алые цветы. Чем больше маков перебьешь, тем лучше, это добрая примета, — так считали самбцы.

Персово поле начиналось близ сельской околицы и тянулось дальше к югу. Граница между ним и цветущими окрестностями села была очень резкой: как-то сразу обрывались виноградники и сады и взор поражала серовато-бурая пустошь, обитель разгульных ветров. Колючие кусты держидерева, торчащие там и сям, сменяли то обожженный засухой дурнишник, то стелющаяся по земле зизифора и чабрец.

Ранней осенью 1957 года, когда самбцы радовались щедрому урожаю, странное до невероятности известие взбудоражило все село, вызвав бурные толки и пересуды. Пронесся слух, что из района прибыла бригада строителей и что на Персовом поле решено

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

огородить участок для строительства какого-то учреждения!..

— Слыхано ли! Огораживать это поле зла и что-то строить на заклятой вековечной пустоши! Какой нечестивец это придумал?! — взывали друг к другу изумленные и возмущенные самецы и в полном недоумении взирали на Персово поле, где уже сновало множество людей и доставленный из Тбилиси замызганный бульдозер с оглушительным грохотом вгрызался в грунт, выворачивая огромные пласты бесплодной земли.

Прошло два дня, и строители огородили изрядный участок. Со стороны села соорудили высокий дощатый забор, выкрасили его в зеленый цвет и посередине навесили огромные ворота. С трех других сторон натянули колючую проволоку.

Прошло еще несколько дней, и в ограде поставили четырехкомнатный деревянный «стандартный» дом. Затем по обе стороны ворот вколотили два высоких столба, вверху к ним поперек прибили жестяную вывеску. На желтом поле вывески черной краской крупными грузинскими буквами были выведены доселе неслышанные слова: «Самебская база Лесстройторга».

Местным знатокам русского языка пришлось изрядно попотеть, прежде чем они смогли растолковать сложное словосочетание — «Лесстройторг» и сообщить всем остальным, что оно означает торговлю пило- и стройматериалами.

Очень скоро базе «Лесстройторга» приискали начальника, так называемого управляющего. Им оказался коренной житель Самеба Годердзи Зенклишвили, человек на селе известный, всеми уважаемый, принятый в среде местных руководителей.

Это обстоятельство существенно облегчило положение: новое учреждение вместо длинного, труднопроизносимого названия получило простое и понятное — «склад Годердзи», а чаще называли его «годердзиевой конторой».

Но Годердзи еще не был назначен, когда у «конторы» появились два истинных управителя: главный бухгалтер, по совместительству экспедитор (для пущей важности назывался он начальником снабжения)



Исак Дондлишвили и завскладом, по совместительству продавец-весовщик Серго Мамаджанов.

Так в селе Самеба, что по-грузински значит «троица», возникла еще одна троица...

Не прошло и недели после открытия базы, как во дворе ее поставили огромный навес, который словно по мановению волшебной палочки сразу же заполнился различнейшим товаром, и запылили, зашумели дороги от потока грузовых автомашин...

Чего только не было во дворе базы под навесом! Белый шифер и огромные бревна-кругляки, **черный** толь и красный кирпич, бетонные блоки и цемент, доски обрезные и необрезные, кровельная жесть и водопроводные трубы, ящики с разнокалиберными гвоздями и проволочные сетки, железные баки и водонагревные печи, стальная арматура и чугунные ванны, швеллера и двухтавровые балки, оконные рамы и красная черепица!.. Чего ни пожелай, все привозилось на склад Годердзи и в тот же день нарасхват вывозилось покупателями.

И повалил народ к бывшему Персову полю — на огороженный колючей проволокой годердзиев склад.

Склад этот благоустраивался с завидной быстротой. Вскоре и дорога, ведущая к нему от села, оделась в асфальт, а по обе ее стороны поднялись ряды молодых ореховых деревьев. Чертов ручей пустили по трубам и подвели к двум довольно изящным мраморным бассейнам с лепными фигурами и башенками — в начале и в конце «годердзиевой дороги». Вода из башенок сверкающими струями падала в мозаичные бассейны. Возле каждого бассейна красовалось по беседке.

Представьте себе, что после всего этого воду Чертова ручья стали даже употреблять для питья, и когда-то столь устрашающее название его теперь никого не пугало. К тому же оказалось, что вода эта обладает прекрасными свойствами, что она холодна и приятна на вкус.

Но это еще не все — в кабинете Годердзи зазвонел телефон! Правление колхоза, школа, больница, винный завод, лимонадный цех, контора плодоовощ-

торга, уполномоченный райпотребсоюза, контора «Заготзерно», ветеринарный пункт — никто не имел телефона, а вот Годердзи заимел, ему тотчас же провели! Разве не было это знаком особого уважения?

Изменился и сам Годердзи.

Он похорошел, располнел, отрастил солидное брюшко. Когда управляющий базой входил в парикмахерскую или на почту, ему тотчас уступали очередь. Стоило переступить порог самебской столовой, музыканты в тот же миг начинали играть его любимые песни. Входил в сельмаг — заведующий почтительно приглашал его к себе в кабинет и немедленно вызывал туда же продавцов. А каждый приезд районного начальства неизменно завершался гостеванием в доме хлебосольного Годердзи.

Короче говоря, Годердзи стал одним из самых главных, самых известных людей на селе. Более того, вся Внутренняя Картли его знала. Руководство целых четырех районов носилось с Зенклишвили, и дня не проходило, чтобы он не получил от кого-либо из них записки с какой-либо просьбой.

Годердзи с ответом не задерживался. Правда, его ответ не на бумажке писался, но, очевидно, корреспондентов больше радовал товар, аккуратно погруженный на автомашину по распоряжению Годердзи, нежели клочок бумаги, исписанный его корявым почерком.

И не один только Годердзи сделался столь влиятельным человеком в Самеба, превратившимся к тому времени в городок, но и Исак Дандлишвили и Серго Мамаджанов не отставали в этом от своего начальника.

Все знали, что тощий, сутуловатый, с запавшими щеками и черными, как уголь, глазами, всегда устремленными под ноги, хмурый и не улыбочивый Исак Дандлишвили чертовски умен и пронырлив. Этот скупой на слова, хладнокровный, как рыба, человек с визгливым голосом, неторопливой походкой и сдержанными движениями по три дня на неделе где-то пропадал, и никто не знал, где он обретался. А по понедельникам и вторникам спозаранок являлся в контору, усаживался за свой стол и с утра до вечера, не поднимая головы, писал, щелкал на счетах и курил сигарету за



сигаретой. Работал он без усталости. И ум у него был ясный. Потому и сделался он наставником и первым советчиком Годердзи.

После каждого возвращения Исака склад Годердзи наполнялся товаром, чтобы в субботу и воскресенье снова опустеть, а в понедельник и вторник Исак Дандлишвили выводил в своих книгах сальдо и писал, писал, подводил итоги...

Серго Мамаджанов, низенький, толстенький, с румяными щечками и пушистыми усами, всегда улыбающийся, жизнерадостный, был не только неутомимым работником, но и на редкость словоохотливым человеком. С раннего утра до позднего вечера не смолкал его низкий, с хрипотцой голос. И круглое как шар тело его, казалось, перекатывалось по обширной территории годердзиэва склада.

Энергичный и приветливый завскладом неожиданно и стремительно возникал то здесь, то там и так же неожиданно исчезал, думаешь, вот он, рядом, а он, оказывается, совсем в другом месте, а через секунду стоит вдруг перед тобой, чтобы в мановение ока вновь улетучиться и поднять суматоху где-то в другом конце склада.

Серго был из тех удачных торговцев, которые твердо следуют правилу: не обманешь — не продашь, причем осуществлял его на практике так искусно, что обманутые им клиенты его же благодарили, и более того — среди них имел он множество приятелей.

Глазомер у Серго был поразительный. Когда его подручные Хромой Миша и Обалдуй Баграт укладывали лес для обмера, Серго вдруг начинал притворно на них сердиться, ругать их, заставлял менять какие-то доски, — мол, как не стыдно, подсунули гнилье этому уважаемому человеку, — вроде бы еще и лишнего добавлял, однако сам так хитро орудовал своим выдавшим виды желтым метром, на котором почти и не видны были деления, что два кубометра превращались у него в три, три — в пять, а пять — в восемь. Вот уж поистине ловкость рук — и никакого мошенства! А подручные-то прекрасно соображали что к чему, и указания своего патрона выполняли тоже с притворным

ворчанием и неудовольствием — мол, он своей расточительностью весь склад разорит и всех нас по миру пустит.

РАССВЕТ  
1935  
2022010033

Помимо того, любезный Мамаджанов плутовал и при определении сортности материала: вместо третьего сорта записывал второй, вместо второго — третий, лихо щелкал костяшками счетов и в итоге сдирал с замороженного покупателя в лучшем случае в два раза больше подлинной цены.

С благословениями, с пожеланиями всех благ, с приятной улыбкой крепко пожимал он облапошенному клиенту руку и, отпустив его, спешил обстричь следующую овечку. Многие, конечно, хорошо понимали хитрости завскладом, но не хотели портить с ним отношения — как знать, может еще раз понадобится...

Злые языки поговаривали: «Серго — тысячерублевый человек». Это означало, что Серго «делает» в день самое меньшее тысячу рублей.

Простодушный с виду Серго был строгим начальником. Его подручные — хромой Миша, сероглазый верзила, инвалид войны, отец бесчисленного количества детей мал-мала меньше, и Баграт Наскидашвили, горький пьяница, ежеутрене обалдевавший от принятия зелья, насквозь провонявший чесноком, порядком его побаивались. Они достаточно знали его крутой нрав и волчьи повадки. В свою очередь, Хромой Миша и Обалдуй Баграт тоже имели подручных, первый — рябую, веснушчатую уборщицу Тасо, толстозадую, крикливую бабу, известную в деревне под прозвищем «старой шлюхи» в память о ремесле, которым в свое время она промышляла, а второй — двух огромных кавказских овчарок, которых днем он держал на цепи, а на ночь спускал.

И Миша, и Баграт дневали и ночевали на базе, в их обязанности входила разгрузка и укладка поступавшего материала, его хранение, а также погрузка проданного на машины. По ночам же они поочередно сторожили базу вместе с собаками. Потому острые на язык сельчане их самих прозвали «самебскими овчарками».

С раннего утра, едва занимался рассвет, Серго на-



чинал орать так, что вопли его слышны были в самой отдаленной части Самеба:

— Миша-а-а, эй, Миша, куда ты запропастился собачья морда! И где тебя нелегкая носит!

— Баграт, гиблая душа, спишь на ходу, как лошадь, идол окаянный, поди скорее сюда, подними бревно с этого конца...

— Ох, чтоб вам пусто было, горе мне с вами, недоумки, бездельники, шаромыжники! Живо, живо, уже и день на исходе, того гляди стемнеет! И по какой выкройке вас скроили, чтоб отцам вашим на том свете мои мучения отозвались! Ослы безмозглые!..

И Мише, и Баграту ничего другого не оставалось, как мотаться хвостом за Серго, неважно было, звал их или не звал крикливый начальник. Он так их вышколил, что оба они все время были начеку и ошалело носились по всей базе, едва поспевая за кругленьким, неугомонным завскладом.

Управляющий же базой был человек совершенно иного склада... Степенный, уравновешенный, он был известен в Самеба как хлебосольный, гостеприимный хозяин и отменный тамада, который пил, как бочка, но при этом никогда разум не терял. Осмотрительный, рассудительный Годердзи Зенклишвили давно стал для своих односельчан олицетворением порядочности, честности и дружеской верности.

«Годердзи сказал», «Годердзи похвалил», «Годердзи отругал», «Годердзи одобрил», «Годердзи сомневается», «он — приятель Годердзи» — только и слышалось в селе, и Годердзи все выше задирали свою красивую голову, становился все более важным, высокомерным... и все более черствел сердцем.

В сумерках раннего утра, едва занимался сизый рассвет, Годердзи поспешно вскакивал со своей мягкой постели, одевался и, на ходу расчесывая волосы, выходил на тропинку, ведущую к Персову полю. Легко, по-молодому одолевал накоротке подъем и выходил на асфальтированную дорогу как раз к тому самому повороту у Чертова ручья, где любил умываться. Долго обливался студеной водой, фыркая, как лошадь. Умывшись, вытаскивал из кармана огромный

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

пестрый носовой платок, так называемый «багдади», и тщательно осушал им лицо и руки.

Ни свет ни заря являлся он в свои владения.

Когда он входил в ворота базы, овчарки с радостным повизгиванием бросались ему в ноги. Эти огромные, с теленка величиной, свирепые псы ластились к нему, словно щенята.

— Кого любят собаки и дети, тот хороший человек! — многозначительно изрекал обычно Годердзи и, посмеиваясь, с ехидцей добавлял: — Хе-хе, а почему это они к Исаку так не льнут? Ну-ка, если он такой смелый, пусть подойдет к ним так же бесстрашно, как я подхожу... Да, как же, черта лысого! Не отважится!... Собаки животные умные, они за версту чувят, чем человек дышит. Так-то!..

Были у Годердзи Зенклишвили свои причуды. Главной из них было постоянное желание поддеть, подколоть Исака, и в то же самое время он дня не мог без него прожить.

Видимо, Годердзи и сам знал за собой эту слабость и старался подавить ее, но чем больше старался, тем больше раздражал его Исак — и представьте, тем больше становился ему необходим!..

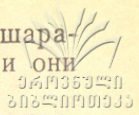
Самую большую комнату здания конторы занимал управляющий, в двух других размещалась бухгалтерия — неприступное владение Исака, а в четвертой стоял стол с расшатанными ножками и старое кресло с продраным сиденьем, принадлежавшее заведующему складом. В этой же комнате зимой устанавливали чугунную печурку и на покрытой брезентом тахте поочередно, согласно дежурству, почивали то хромой Миша, то окосевший от водки Баграт.

В кабинет Годердзи почему зря никто не смел зайти. Отворив дверь, вы сразу же оказывались перед управляющим базой, который восседал за массивным письменным столом прямо напротив двери и, выкатив глаза, молча уставлялся на входящего. Казалось, он сверлит вас своим пронизывающим взглядом, стремясь заглянуть в самую душу.

Так он сидел, не произнося ни звука, даже не злодеясь с вошедшим, кто бы тот ни был. Сидел неподвижно и таранился, выжидая, когда посетитель обре-



тет дар речи. Такой необычный прием многих ошарашивал, многих делал куда покладистее, чем были они вообще.



Насупленный, мрачный управляющий санкционировал выдачу того, что следовало покупателю, так, словно милость оказывал.

За его огромным дубовым креслом с мягкой спинкой, которое где-то раздобыл для него Исак, на стене в блестящей, под серебро, раме красовался портрет Сталина в форме генералиссимуса. Когда Годердзи перехватывал взгляд посетителя, устремленный на портрет, он, кивая головой, самодовольно говорил:

— Я, братец, на фронте под его верховным командованием воевал, поэтому так просто с ним не расстанусь. Пусть висит себе на здоровье, кому он мешает, не так ли?

И получив положительный ответ, стучал огромным кулачищем по столу и многозначительно добавлял:

— Да, милый мой друг, так оно было и всегда так будет, — времена царствуют, а не человеки, и все мы — игрушки в руках времени. Захочет оно, проклятое, подбросит тебя высоко, вознесет надо всеми, захочет — на обе лопатки уложит! Как наш великан Сандро Канделаки своих противников ложил. Захочет — удачу пошлет, захочет — в бараний рог согнет! Но пока оно тебя согнет, ты, брат, должен изловчиться и за рога его схватить! Обязательно за рога, понял?

Придя спозаранок на базу, Годердзи не спеша обходил всю территорию, не оставлял ни одного уголка, ни одного закутка. Шагал размеренно, по-военному, покачивая богатырскими плечами, не ходил — шествовал, словно парад принимал. Затем направлялся в свой кабинет, кряхтя поглубже усаживался в кресло и, упершись мощным животом в край столешницы, погружался в раздумье, которое очень быстро и незаметно переходило в сон.

Была у него такая привычка — чтобы пополнить нехватку сна, ему необходимо было соснуть здесь, в своем кабинете, час-полтора. Тут как раз и наступало время открытия базы. Он разевал глаза, вставал, со

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

стуком растворял окно и, высунувшись в него орал громовым голосом:

— Эй, дармоеды, а́ткрывай в́арата!

Последние два слова почему-то произносились по-русски.

Выкрашенные в зеленый цвет огромные ворота, над которыми красовалась вывеска «Самебская база Лесстройторга», распахивались со страшным скрипом и скрежетом, и поток клиентов вливался во двор. Толкаясь, крича и перекрикивая друг друга, люди мгновенно окружали стоявшего посередине двора приветливо улыбавшегося Серго Мамаджанова, ошую и одесную которого, точно верные стражи, возвышались Хромой Миша и похмельный Баграт.

И начиналось светопреставление! Поднимался гвалт, гомон, велся ожесточенный торг, сопровождаемый громкими выкриками и восклицаниями, то искренними, то притворными, сдобренными бранью, от которой даже славившийся сквернословием Баграт не без удивления удовлетворенно ухмылялся. Под этот аккомпанемент происходил выбор материалов, перекаладывание, отмеривание, погрузка, и тут уж для стражей Серго наступало полное раздолье.

Годердзи, невозмутимо наблюдавший за бурлящей толпой в распахнутое окно своего кабинета, вспоминал слова покойного Каколы: «Толпа—хуже чем овечья отара, на пути не становись, затопчет... надо позади нее идти и погонять ее... Одного человека не поймешь, а толпу и подавно, она ведь сама не знает, чего хочет!»

Серго в эти утренние часы чувствовал себя как рыба в воде. Он рысью бегал по базе, поминутно отдавая четкие распоряжения, так что Миша и Баграт ни на миг не имели покоя.

Ровно в час дня, минута в минуту, Годердзи высовывал голову в окно и ревел на всю базу:

— Эй, Баграт, з́акривай в́арата! — и склад Годердзи закрывался на двухчасовой перерыв.

Такой долгий перерыв не предусматривался ни одной инструкцией, но все знали, что Годердзи Зенклишвили сильнее любой инструкции, и поэтому никому в голову не приходило с ним спорить.



Перерыв предназначался для обеда. Хромой Миша садился на мотоцикл Мамаджанова и мчал к сельской столовой. Там ежедневно готовился особый обед специально для базы Годердзи — то буглама, то грузинская солянка, то каурма из печени, то жирный бозбаш.

По старинному грузинскому обычаю трапезничали все вместе — и начальник, и подчиненные. Этот демократизм ввел и узаконил сам Годердзи. Когда Исак случался на базе, он, естественно, тоже разделял трапезу. Перед каждым ставилась персональная бутылка доброго вина, пили по-кахетински: каждый наливал себе из своей бутылки и мог выпить либо помногу, в два-три приема, либо потихоньку, по малой чарке. Больше одной бутылки пить не полагалось.

После обеда Багра́т отправлялся в будку, опрокидывал там еще стакан водки, утирал рукавом замусоленной кожаной куртки губы и лишь после того приступал к работе.

Годердзи снова орал — «аткривай варата», и Миша с Багра́том стремглав бросались выполнять команду, а сам хозяин погружался в кресло, и вскоре в тишине кабинета раздавался его мощный храп.

Но беда была в том, что во время второго, послеобеденного сна Годердзи обычно начинала работать круглая пила, а эта чертовщина издавала такие ужасающие звуки, что и мертвый бы проснулся. Визг и скрежет пилы зависел и от распиливаемого материала. Если древесина попадалась твердой породы, пила начинала пронзительно визжать, так что не только дремать — стоять поблизости было невозможно.

Поэтому Годердзи терпеть не мог дубовые и букковые бревна. То ли дело ель и сосна! «Циркулярка» (так называли круглую пилу), распиливая их, равномерно жужжала, и эти звуки убаюкивали управляющего, как мерное покачивание колыбели, рисуя его полусонному воображению новенькие сторублевки.

В один прекрасный день, в тот самый час, когда Годердзи пребывал в состоянии блаженной дремоты, в кабинет влетел только что прибывший из очередного вояжа Исак Дандлишвили. Став перед Годердзи,



он долго шумно дышал, все никак не мог отдышаться, пока наконец начальник не рывкнул:

— Что с тобой стряслось, может скажешь наконец? — и сердито уставился на него своими огромными немигающими глазами.

— Первого секретаря сняли, — каким-то чужим голосом выговорил Исак.

— Какого первого, первых много, нашего райкома или какого другого? — с несвойственной быстротой спросил управляющий и приподнялся с кресла.

— Да нет! — скривился в гримасе Исак. — Всея Грузии!..

— Ух ты! — вырвалось у Годердзи и он сел обратно. Известие как громом поразило его. Нижняя челюсть у него отвисла, глаза чуть не вылезли из орбит, жилы на висках взбухли.

— Мне только что сказали... На пенсию, мол, перевели, — Исак еле ворочал языком. Он ногой пододвинул к себе стул и сел так осторожно, словно стул сломанный и вот-вот развалится.

— Ух ты! — снова выдохнул Годердзи и, обомлевший, откинулся на спинку кресла.

Несколько минут оба сидели молча. Исак заговорил первым.

— Увидишь, как все изменится! Этих всех тоже снимают, — он кивком указал в ту сторону, где находился райцентр. — Очень скоро увидишь, какие дела завертятся... Эхе-хе, подождали бы, проклятые, хоть немножко, но разве эти... эти... — от волнения бухгалтер не смог найти нужного слова и в сердцах смачно сплюнул.

— Не я ли тебе говорил, не надо давать им так много, подавятся, вот теперь и бегай за ним, — Исак снова кивнул в сторону райцентра, — вот увидишь, что сейчас он для нас сделает, — желчно и многозначительно произнес он и, вскочив со стула, стал глядеть в окно.

Со двора донесся сиплый голос Серго:

— Миша, чтоб тебе лопнуть, куда ты девался, по-ди сюда!

— Позови-ка этого болвана, — в глубокой задумчивости проговорил Годердзи. — Ревет, подлец, как убойный бык...



— Эй, Серго, старшой зовет, — крикнул Исак и плотно прикрыл окно.

— Я пришел, — вкатившись в комнату, гаркнул Серго и добавил: — Слушай, чего же ты меня зовешь в такое время, когда народ насаждает, гляди, какие покупатели, — он поднес к губам щепотью сложенные три пальца и звучно их поцеловал.

— Кто на тебя теперь насядет, ты это скажи, — проговорил Годердзи и почесал затылок.

— Что случилось? — Серго, сразу перетрусив, начал заглядывать в глаза то одному, то другому, пытаясь понять, что это за угроза.

— Первого секретаря сняли, — пояснил Исак.

— Какого первого? — опешил Серго.

— Какого, какого! Первого секретаря Цека Грузии, безмозглая башка! — Исак, видимо, постепенно распалялся.

Серго с минуту молчал, переводил взгляд с управляющего на бухгалтера, видимо, осмысливая известие, а потом вдруг воскликнул:

— Да ну, не было заботы! Сняли, и черт с ним, а нам-то что? Одного снимут, другого назначат, только и всего, так оно и идет. Эка невидаль! Нашли чем удивить! — Серго, разозлившись, пнул ногой стоявший поблизости стул, да с такой силой, что стул опрокинулся и стукнулся об стену.

Измученный Исак молча смотрел то на Годердзи, то на Мамаджанова.

— Вообще-то говоря, парень не совсем врет, — степенно, раздумчиво заговорил Годердзи. — Ну, сняли и сняли, нам-то что? Мы, братец ты мой, люди маленькие, мы...

— Э-э, что с вами говорить! — вскипел разъяренный Исак. — Вы ситуацию не видите! То, что не видите, — полбеда, это еще ничего, но ведь и не чувствуете! Знаете вы, что за этим последует? Все вот так перемешается, — он завертел согнутыми кистями рук, — так тебя выжмут, так хвост тебе прикрутят, по рукам и ногам свяжут, — дышать станет невозможно... Э-э, вам это все невдомек, а я-то знаю, что нас ожидает... Нам необходимо немедленно закруглиться,

сворачивать все дела!.. Ясно? Сейчас другая ситуация!

«Ситуация» было излюбленное словечко Исака.

— Да-а, так я и знал! — продолжал он. — Ей-богу, я не раз думал, такое раздолье не может долго длиться, и вот тебе, сбилось мое предчувствие!

— Исак прав, — забасил Годердзи, — теперь настанут другие времена, во всяком случае — на первых порах... нам надо закруглять наши дела. Поглядим, обождем, вы же знаете — царствуют времена, а не человеки. То время было таким, а это будет другим. Потом еще что-то изменится, и так до скончания века!.. Вечная карусель. Какой это дурак утверждает, что нет перпетуум-мобиле, политическая жизнь и есть настоящее перпетуум-мобиле, сколько ни старайся, не приостановишь, даже передохнуть не дает, все крутится и крутится, — в трудные минуты Годердзи ударялся в философию, видимо это несколько успокаивало его.

— Ничего не будет! — разозлился Мамаджанов. — Или вы не знаете пословицу — «непривычного не приучай, привычного не отучай»? Народ к вольности так привык, что никому не под силу удилла ему укоротить. Теперь обратного хода нет! Наше дело — торговля, а без торговли ни одно государство не может просуществовать. Ни социалистическое, ни капиталистическое, да поймите же вы это, поймите!

— Тпру-у! Стой, Сергунчик, стой, — не выдержал Исак и вдруг, словно его прорвало, завизжал: — Если я второго такого оболтуса, как ты, видел, пусть земля меня поглотит! — и в полной ярости выскочил во двор, грохнув дверью.

— Чего он на меня-то сердится, не я же снял этого чертова секретаря, — обиженно проговорил как-то сразу потухший Серго и тоже собрался уходить.

— Ступай, да пришли мне этого, как его... Баграта, — с недовольным видом велел Годердзи.

Через несколько минут в кабинет управляющего ввалился Баграт, и сразу понесло водкой и чесноком.

— Садись в прихожей и никого ко мне не пускай, понял?



— Ты что это, Годердзи батоно!.. Если я здесь рас-  
сядусь, кто же там за всем присмотрит?

— Выполняй, балда ты этакий, что тебе говорят,  
не то...

— Воля твоя, воля твоя, я-то выполняю, что мне  
велят, я все...

— Ладно, катись сейчас отсюда, не до твоей бол-  
товни мне... Ни черта не смыслишь, тьфу, будь ты не-  
ладен!...

Багра́т пулей вылетел во двор, а Годердзи поглуб-  
же нырнул в кресло, уперся брюхом в стол, вытянул  
ноги, всем телом потянулся, вздохнул и глубоко-глубо-  
ко задумался...

Любил Годердзи Зенклишвили мысленным взором  
окидывать свое прошлое. Оставаясь в одиночестве, он  
либо погружался в дрему, либо сидел, выпучив свои  
огромные глаза, затененные на редкость длинными рес-  
ницами, и листал, листал книгу своей жизни.

Сейчас было не до сна, этот сукин сын Исак слиш-  
ком его разволновал, испортил настроение. И, чтобы  
отвлечься, он обернулся к прошлому.

Там, в прошлом, не было ни на волос чего-либо  
дурного, постыдного. Он был уверен в своей чистоте  
и порядочности, в том, что жизнь свою прожил до-  
стойно.

Вот только события последних лет коробили его.  
Порой ему казалось, что он слишком далеко зашел,  
слишком поддался этому проклятому Исаку Дандли-  
швили, умному и коварному, аки змий.

Жадности Исака не было границ, подавай ему  
хоть весь земной шар — мало будет, солнце и луну  
впридачу захочет. Такого ненасытного человека Го-  
дердзи второго не встречал.

Ах, будь неладен тот час, когда секретарь райкома,  
этот пройдоха Вахтанг Петрович, всучил ему в помощ-  
ники Исака. Вообще, если по правде говорить, все  
это дело сам Вахтанг Петрович и заварил. Как по-  
койно, как уютно чувствовал себя Годердзи на той ма-  
ленькой лесопилке, да и потом, на кирпичном заво-  
де!..

...И день сегодняшней исчез, растворился, как сон.

А день вчерашний поразительно явственно и живо предстал перед его глазами, до того живо, что Годердзи и не разбирал уже, где явь, а где — видения, оживленные цепкой памятью...

\* \* \*

...Перед его взором, как бы выплыв из небытия, появился маленький бревенчатый домишко на краю села, на крутом пустынном склоне, где земля была суха и бесплодна. Дом — не дом, жалкий сарайчик с глиняной крышей и отверстием в ней, одновременно служившим и дымоходом, и окном. Против входной двери, в противоположной стене комнаты находилась скособоченная и скрипучая дверь, которая вела в пристройку для скотины. Там зимой держали корову и трех овец.

Стены ветхого жилища были такие закопченные, казалось, их вымазали черной краской. По стенам и с потолка свисала густая, махровая ткань паутины. С первого взгляда можно было подумать, что развесили какие-то черные лохмотья.

Эта паутина, между прочим, имела медицинское применение: когда маленькому Годердзи случалось поранить палец или босую ножку (а случалось это часто, малыш был резвый и шаловливый), бабушка Сидониа отрывала кусочек паутины и прилепляла ее к ране. На второй день ранка затягивалась, а еще через день-два заживала бесследно. Паутина не только для Годердзи — и для взрослых являлась незаменимым лечебным средством.

В семье их было трое: мать Варя, бабушка, отцова мать Сидониа и Годердзи.

Отца он помнил смутно. Отца забрали на войну и там, где-то очень далеко, то ли в Маджурии, то ли в Минчурии (ни бабушка, ни мать никак не могли выговорить это слово) его убили японцы. Годердзи к тому времени было шесть лет.

«Его убили в тысяча девятьсот пятом», — повторяла обычно мать, когда староста или еще кто-либо заглядывал зачем-то в темный зев их прокопченной комнатенки.

Когда мальчик подрос, его определили на учебу к



дьякону, вечно взлохмаченному Лонгинозу. Лонгиноз слыл в деревне ученым человеком. И правда, чего только не знал Лонгиноз, к тому же был он на редкость добрый, благожелательный и безобидный старик. К несчастью, он вскоре умер, и Годердзи так и остался недоучкой.

Он был юношей, когда добрые соседи помогли Сидонии устроить внука курьером в самобскую канцелярию. Целыми днями мотался он по соседним деревням, разносил письма с коричневыми сургучными печатями.

И нынче хорошо помнит Годердзи грозного управителя всех приречных деревень, отставного ротмистра князя Сосо Магалашвили. Этот смуглый красавец, сердцеед и донжуан, в то же время был ретивым службистом. Молодцеватый, все еще юношески стройный, подтянутый, он всегда ходил в чохе, причем всегда кизилового цвета, с серебряными газырями. Повыше газырей красовался Георгиевский крест. Разъезжал он верхом на чудесном кауром иноходце. Прискачет и уже с порога как начнет орать, хоть святых выноси.

От мощных раскатов княжеского голоса подрагивала керосиновая лампа, на цепях спускавшаяся с потолка. А от его плетеного кнута у Годердзи не проходили кровоподтеки на ногах. Правда, стегал он только по ногам, но всегда с таким точным расчетом, что кнут обжигал обе икры одновременно. А попытайся подпрыгнуть — и того хуже, тут уж пощады не жди, так от-делает, что ни ходить, ни сидеть не сможешь.

Но при всей своей вспыльчивости, властности, строгости и требовательности красавец-ротмистр был добрым и щедрым человеком. Отхлестает, бывало, Годердзи своим кнутом, а на второй день, глядишь, как бы невзначай бросит ему несколько гривенников, а то и больше. Так что без малого за год Годердзи из его подачек скопил столько денег, что мать и бабушка задумали купить еще одну корову с телком.

...Ни тогда, ни много позже не питал Годердзи ненависти к Магалашвили. В его душе теплилось какое-то неясное, но доброе чувство — не то восхищение, не то привязанность к отставному ротмистру. И когда

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

во время большой смуты (так называли самобеские старики время Февральской революции) на сельском съезде, на глазах всего народа, осетин Цолак трижды в упор выстрелил в Магалашвили, уже давно сменившего свою излюбленную кизилую чоху на простую кашемировую блузу, у Годердзи так сильно защемило сердце и он был так потрясен и удручен, что очень долго не мог прийти в себя...

Проработал Годердзи у грозного Магалашвили недолго — бабушка, царствие ей небесное, забеспокоилась, как бы от непрерывной беготни у парня грыжа не выскочила, забрала его из канцелярии и тут же нашла для него другую работу: Годердзи нанялся поденщиком в дом деревенского богача Эдишера Гогичайшвили.

Сколько воды утекло с той поры, а Годердзи по сей день с благодарностью вспоминает старика Эдишера: и к труду его приохотил, и в тайны крестьянского дела посвятил, и к усердию и порядку в хозяйствовании тоже Эдишер его приучил.

На редкость справедливым человеком был Эдишер — белый, как лунь, благообразный, разумный старик. И по достоинству оценил труды Годердзи: на заработанные им деньги помог ему приобрести маленький, в два пахотных дня клочок земли, и с той поры в деревне появился еще один «настоящий» дым. Не такой, какие у бедняков были, нет, настоящий, с собственной пашней. Правда, волов и буйволов в молодом хозяйстве на первых порах не было, но с помощью соседей семья обрабатывала участок.

Мать и бабка уверовали в благосклонный поворот судьбы, в счастливую звезду сына и внука, и все втроем стали с еще большим усердием трудиться на «своей» земле. И вскоре действительно дела пошли так, что вдовы выстроили двухкомнатный домик, огороженный аккуратным плетнем, с саманником и курятником.

«Зенклишвили вылезли-таки на свет божий из своего хлева», — говорили в деревне, иные одобрительно и участливо, а иные — ехидно похихикивая.

К тому времени Годердзи уже вступил в возраст, когда парню положено обзаводиться семьей. Женихом



стал Годердзи, да таким красавцем, что почти все самецкие девицы по нему тайно вздыхали.

Был он парнем статным, видным, пригожим, характером же и трудолюбием на всю деревню славился. Правда, достатка не имел, однако сноровка, умение, смекалка и сила, которой у него было хоть отбавляй, — все это служило залогом будущего. И то сказать, разве кто бракует доброго молодца за бедность?

По воскресеньям, когда стихал большой колокол церкви святого Георгия, в той части села, что называлась Сескелашвилевским кварталом, на гумнах собиралась молодежь и затевались песни и пляски. В теплые лунные вечера допоздна раздавался ритмичный стук доли. Иногда к доли присоединялась свирель, а иногда и гармонь. А уж если прославленные самецкие зурначи заводили свою музыку, это сулило большое веселье. Тогда все село, от мала до велика, двигалось к гумнам и огненные танцы разгорались вовсю. Когда очередь доходила до лекури, на заранее политую водой и высушенную до звона, тщательно подметенную поверхность гумна, которая не уступала хорошему паркетному полу, поочередно, соблюдая старшинство, выходили пары лучших исполнителей этого традиционного и столь почитаемого в Грузии национального танца.

В Самеба много было отличных танцоров, однако Годердзи Зенклишвили никому не удавалось превзойти.

Белые аккуратные каламани, хорошо пригнанные, облегчающие ногу узкие картлийские брюки, заправленные в белые вязаные гарусные носки, и короткий ахалухи темно-синей парчи с застегнутыми под самое горло крючками — таков был выходной наряд молодых самецких парней и, конечно же, Годердзи. Темноволосый, с огромными выразительными глазами, с не отросшими еще усами — глядеть на него было любо-дорого. Стоило ему появиться, девушки разум теряли.

Действительно, было чем полюбоваться, когда он, входя в круг, плавно раскидывал свои длинные сильные руки, склонив набок мощную красивую шею и легко

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

перебирая ногами, казалось не касаясь земли, скользил по кругу, даже не шевельнув плечом.

А песни пел — заслушаешься. «Годердзи знает мертвый восстанет», — говорили в деревне. — Его «Чакруло» и «Шевкрат цитэли», «Застольная» и «Чона» славились по всей округе, а «Метивури» — песня плотогонов стала притчей во языцех. И правда, раз услышав, как поет Годердзи, хотелось слушать и слушать без конца это волшебное пение с переливами да раскатами, этот густой и теплый голос, завораживающий силой и чистотой звука.

Речь его была неторопливой, сдержанной. Сперва уставится на собеседника своими большими лучистыми глазами, а уж потом заговорит. И непременно собеседнику в глаза глядит — не так, как иные: говорят с человеком, а сами в сторону смотрят.

Но когда Годердзи знал, что где-то поблизости находится Малало, дочь самевского богача Шавдатуашвили, — и пляска, и пение, и речь, и вся повадка его приобретали особую красоту и обаяние.

Малало Шавдатуашвили была воспитанной девушкой и грамотной — отец в свое время отдал ее в четырехлетнюю сельскую школу, но продолжить учебу дальше запретил. «Для дома хватит и этого, моя дочь не грамотеем должна быть, а хорошей хозяйкой», — назидательно сказал он тогда.

Назвать Малало писаной красавицей было нельзя, но внешность ее не могла не понравиться и не запомниться с первого же взгляда.

Рослая, по-крестьянски крепкая и чуть полноватая, с каштановыми косами до щиколоток, белолицая, с огромными, горящими, как две свечи, медовыми глазами в рамке густых ресниц — такова была Малало.

Когда глаза эти обращались на Годердзи, разум у него затмевался, а сердце начинало так стучать, что казалось, вот-вот выскочит и разорвет ворот ахалухи. Ошалевая от взора этих глаз, Годердзи непроизвольно тянулся рукой к крючкам на воротнике, проверяя, не растянулись ли сами собой...

Однако лицеизреть Малало было далеко не так просто! Строгие родители и за порог-то редко ее выпускали, а когда выпускали, так стерегли, что заговорить с ней было невозможно.



Отец Малало, бывший сельский староста Какола, человек угрюмый и жесткий, считался самым зажиточным крестьянином во всей округе. Его поля и виноградники были известны далеко окрест. Большое состояние имел Какола. Знал свою силу, и цену себе знал, не снисходил до каждого и не каждого удостоивал чести беседовать или просто словом с ним перекинуться. Куда дальше — высокомерный старик и на приветствие-то не всегда расщедривался, а уж коли снимал перед кем-то свою мышинового цвета островерхую каракулевую шапку — бохохи, значит, оказывал великую милость.

Четверо сыновей было у Каколы, и все четверо — широкоплечие, здоровые, с копной густых пышных волос. Другую такую четверку дюжих работающих молодцев не сыскать было во всей Внутренней Картли.

«Волками» прозвали их на селе. И вправду смахивали они на волков — богатырской стати, с бронзовыми от солнца чеканными лицами, со сверкающими горящими глазами, со спадающими на лоб черными чубами из-под набекрень надвинутых черных же войлочных шапочек, крест-накрест расшитых тесьмой.

Все четверо славилась острым языком и тяжелым кулаком, потому к их единственной обожаемой сестре за три версты никто не осмеливался приблизиться.

Единственным человеком, который беспрепятственно мог пригласить Малало на танец, был Годердзи. Никто не знал, когда и как обрел это право парень, за спиной у которого только и было, что нужда да две вдовы старухи. Бог весть, сколько юношей из зажиточных семей считали себя оскорбленными этим странным обстоятельством, но что было делать.

Когда Годердзи приглашал Малало на танец, «волки», стоя за ее спиной, молча наблюдали, скрестив на груди руки и сведя густые брови. Стояли и настороженно смотрели на свою сестру, разом вспыхнувшую и расцветшую, точно роза, сияющую переполнявшей ее радостью, грациозно, легко скользившую по кругу.

Мешать они ей не мешали, лишь зорко наблюдали и терпеливо ждали, пока Малало вернется на место. Но упаси бог, если какой-нибудь смельчак попытался

бы отбить Малало у партнера. В таком случае едва заканчивались пляски и народ начинал расходиться, все четверо молча шли по пятам за неосмотрительным кавалером, окружали его в каком-нибудь тихом переулке и так отделывали, что бедняга целых две недели не мог показаться на люди.

Малало была светом всей семьи.

У пятерых мужчин она одна была отрада, святыня, которую они яро охраняли. Удивительно было то, что, волки со всеми, при ней эти пятеро сами обращались в ягнят. Тихая, застенчивая девушка с медовыми глазами безраздельно властвовала над ними. Эти суровые, грубые мужчины становились мягкими и покладистыми, и она могла повелевать и вертеть ими, как ей было угодно.

Годердзи прекрасно видел, что Малало неравнодушна к нему. Он догадывался, что именно поэтому братья ее, забияки и драчуны, встречаясь с ним, держались с какой-то подчеркнутой приветливостью, а при случае степенно с ним беседовали.

Такое поведение богачей Шавдатуашвили следовало считать за выражение особого уважения. Судите сами — сыновья самого состоятельного человека в селе снисходили до бедняка, подобных которому на каковом подворье батрачило более десяти человек. Разве же это мало значило?

В один прекрасный день мать Малало, пышнотелая, всегда нарядно разодетая Дареджан, традиционно благословляя кров, переступила порог зенклишвилевского дома и после обычных приветствий и расспросов попросила соседей войти в ханулоба, то бишь объединить своих коров и их удои.

Сомнений не оставалось — это лестное для годердиевой семьи предложение Шавдатуашвили сделали, конечно же, потакая желаниям и чувствам своей любимицы Малало. Иначе с какой стати было чванливой и заносчивой Дареджан вступать в ханулоба с владельцами одной-единственной коровы, ей — обладательнице более десятка породистых дойных коров и почти стольких же буйволиц.

Зенклишвили приняли гостью с большим почетом и на следующий же день отправили все надоенное молоко своим ханули.



А в первый понедельник следующей недели во двор Зенклишвили словно солнце сошло — шавдатуашвилева Малало принесла своим ханули молоко в обьемном сосуде...

Во второй свой приход она слегка задержалась у соседей.

А в третий раз затеяла долгую беседу с матерью и бабушкой Годердзи, которые так и растаяли от негаданного счастья.

Зенклишвилевские вдовы расцвели, как розы. И даже не пытались скрыть свою радость.

Вскоре к беседам женщин присоединился и Годердзи, и серебристый смех Малало сделался еще звонче и веселее.

Чудеса, представьте, на этом не кончились. Видно, судьба повернулась лицом к Годердзи, и господь внял молитвам его горемычной матери и бабушки.

Годердзи особенно любил вспоминать одно необыкновенное летнее утро...

И чем больше входил он в возраст, тем чаще всплывал в его памяти случай, который направил его жизнь в новое русло, — так перебрасывают воду для орошения полей и садов в новый канал.

Было начало июля.

Жара наступила внезапно.

В тот год у Зенклишвили рано вышел запас пшеницы, пришлось побираться по соседям. С нетерпением ждали они, когда наконец начнется обмолот зерна, чтобы и с долгами рассчитаться, и поесть сытнее.

Малало, входяя в их дом, конечно, заметила эту беду и шепнула матери. А та — к мужу: так, мол, и так. Словом, отмерил им Какола целый коди отборного зерна.

Обрадованный Годердзи взвалил на спину пятипудовый рогожный мешок и, не слушая охов и ахов матери — надорвешься, мол, шутка ли — целый коди! — помчался на мельницу.

Когда он пришел, глухой мельник смалывал чье-то зерно, и Годердзи пришлось ждать. Он решил за это

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

время сбегать к шавдатуашвилевскому саду, авось да увидит хоть издали Малало.

Он шел вдоль их плотно, двойной вязки, держась как можно ближе к нему и заглядывал в сад.

— Эй, парень, — раздалось вдруг так неожиданно, что Годердзи даже вздрогнул, — гляди, как бы не надорвался, чего доброго грыжа выскочит, разве можно с таким тяжелым мешком бегать? Видел я давеча, как ты на мельницу скакал. Сказал бы мне, одолжил бы я арбу... Все мы друг другу помогать должны, иначе не проживешь на этом проклятом свете, чего же ты стыдишься?

Годердзи застыл на месте: за плетнем стоял сам Какола Шавдатуашвили!

Неприступный, высокомерный, гордый Какола... Первый человек на селе, кавалер ордена Святого Георгия, который он получил еще в русско-турецкую войну 1877-78 годов, богатеи из богатеев и злыдень из злыдней. Во всяком случае таким слыл.

Годердзи окинул его беглым взглядом и подивился: всегда насупленный, угрюмый и мрачный Какола на этот раз приветливо улыбался.

Годердзи и сейчас не знает, было ли то на самом деле, но тогда ему показалось, что черные как ночь, маленькие глазки Каколы ласково глядели на него из-под седых кустистых полукружий бровей. И поседевшие, с закрученными вниз кончиками, пышные седые усы не топорщились так воинственно, как обычно.

Весь он, Какола, поджарый, жилистый, всегда подобранный, как натянутая тетива, выглядел сейчас как-им-то мягким, добродушным.

Бывший староста, чей кизилковый прут с детства был хорошо знаком сельской детворе, одной рукой держался за ветку знаменитого шавдатуашвилевского терна, а другую протягивал Годердзи, предлагая полную горсть черных, подернутых синью спелых ягод, — освежись, дескать.

Ошеломленный непривычным вниманием и приветливостью Годердзи кое-как опомнился и протянул ручищу, чтобы принять угощение.

— Слушай, парень, поди-ка сюда, у меня к тебе дело есть, — уже иным, серьезным тоном проговорил



Какола и кивком головы указал на плетень — перемахни, мол.

Годердзи глянул — калитка-то и вправду далеко — Перелазь, не бойся, не такой уж ты тяжелый, чтобы мой плетень повалить, — пошутил Какола и ободрительно потрепал его по плечу. Годердзи почувствовал, что рука Каколы, несмотря на его седьмой десяток, сильна и крепка.

Какола увлек его в глубину сада. Там, на бугорке, поросшем густой зеленой травкой, под раскидистыми вишнями он уселся сам и сказал Годердзи: «Садись вот тут», властно указав на место подле себя.

От стороннего глаза их скрывали густые заросли чернослива. Пожалуй, Какола не без умысла выбрал этот укромный уголок.

«Интересно, что ему нужно, чего он от меня хочет? — сосредоточенно размышлял Годердзи. — Верно, предложит мне полевым сторожем или пастухом к нему наняться. А я и соглашусь, отчего же нет? И работа хорошая, и возле Малало буду!..»

Какола не спешил начинать разговор, молчал и даже не глядел на гостя. Наверное, таким образом стремился придать своим словам больше веса.

Он неторопливо прочистил трубку, достал пестрый кисет, привычным движением развязал шнурки и долго, тщательно набивал трубку, уминая большим пальцем по несколько щепоток табака-самосада.

Покончив с этим делом, полез в карман за огнивом и кремнем. Долго высекал искру. Наконец, когда задымил трут, он поднес его к трубке и начал мелко-мелко затягиваться, пока не раскурил трубку как следует.

Годердзи, глядя на него, тоже молчал, держался чинно, не желая проявлять нетерпение. Сидел, не шевелясь, а сердце — сердце колотилось как никогда в жизни!

— Послушай, что я тебе скажу, — заговорил, слава богу, Какола и впери в Годердзи теперь уже жесткие, колючие глаза. — Коли понравятся тебе мои слова — хорошо, а коли не по душе придутся — схорони их в сердце и никому не пересказывай. Такое мое

тебе условие, и ты, хоть на кресте тебя распнут, не должен его нарушить. Обещаешь?

— Обещаю, вот те крест! — Годердзи истово пере-  
крестился.

Какола, как бы все еще сомневаясь, испытующе по-  
глядел в глаза юноше.

— Клянусь духом отца, крестный Какола...

— Что ж, удовольствуемся этим твоим словом.

— Я своему слову никогда еще не изменял!

— Ладно, верю. Так вот, заметил я, ты на дочку мою заглядываешься. Верно говорю?

Ага, вот оно в чем дело! Вот почему улыбался этот чертов Какола! Заманил его в свой сад, чтобы вырвать у него признание, а теперь и разукрасит лещиной, слава богу, здесь целые заросли орешника...

Годердзи метнул быстрый взгляд на длинные жилистые руки Каколы. Руки покоились на коленях. В одной — трубка, ладонь другой мирно опиралась на колено. Нет, никаких признаков предбоевого напряжения не было заметно на этих руках.

— И вот ведь что, ведь и эта девчонка, моя-то, оказывается, никого, кроме тебя, знать не желает, — так же неторопливо продолжал Какола. — Сказать правду, не хочу я ее неволить, как-никак, единственная дочь она у меня, пока жив — на нее радуюсь, а умру — глаза мне она закроет. Я, друг мой, за богатством не гонюсь, дай бог мне использовать то, что имею. Чего уж душой кривить — нравишься ты мне, парень ты видный и сердце у тебя открытое, однако же такому бедняку, как ты, я дочь не отдам. И сам замучишься, и ее замучишь.

При этих словах у Годердзи разом пересохло в горле. Он испугался, что сейчас польются слезы, часто часто заморгал. Единственное, чего желал он в эти мгновения, — как можно быстрее сбежать отсюда и забиться куда-нибудь, провалиться, чтобы никого не видеть и не слышать.

— Скажу тебе свое слово, а ты послушай, — продолжал, помолчав, Какола, — если вправду хочешь, чтоб я за тебя ее отдал — давай пошевели руками-ногами, потрудишься, поработай да и накопи хоть какие ни есть деньги, я тоже помогу...



— Крестный Какола, родной ты мой! — воскликнул Годердзи и молитвенно воздел руки.

— Да, ей-богу помогу, и крепко помогу, уже я сказал, знаешь...

— Свет ты мой, крестный Какола, всю жизнь тебе рабом буду, слышишь, рабом!

— Да на кой леший мне раб, рабов мне и без тебя хватает, человек мне нужен, мужчина в доме, заботник и радатель, чтобы юлой вертелся и во всем поспевал! Ты должен, слышь, малый, ты...

— И честь, которую ты мне оказываешь, оценю; и доверия твоего не обману, клянусь духом отца, вот те крест! — прерывая его, воскликнул Годердзи и снова с жаром перекрестился.

— Послушай теперь, что скажу. Дам я тебе в долг восемь червонцев. Когда будет — вернешь. Процентом с тебя не возьму, и вексель не потребую, вернешь — хорошо, не вернешь — и бог с тобой. Авось не обанкрочусь.

Какола полез в карман, вытащил хрустящие ассигнации.

— На, бери, и помоги тебе господь-бог, употреби их с толком...

— Ой, крестный, благослови тебя всевышний, а я рабом твоим стану, рабом!

— А-а, да будет тебе! Вот заладил! Говорю же, к черту всякого раба! Рабов и без тебя хватает. У меня другая мысль: хочу, чтобы ты человеком стал, а не рабом, понял? Ненавижу рабов! От них, угодников и лицемеров трусливых, все беды. Человек должен быть в меру послушным и в меру непослушным.

Какола воздел кверху указательный палец и сидел так некоторое время, потом тем же пальцем постучал по груди Годердзи — ровно палкой постукал — и, придвинув к нему свое суровое лицо, буравя его глаза пронзительными своими глазами, медленно проговорил:

— На эти деньги быков купи, а землю с уплатой четвертинки за урожай я тебе раздобуду, и поручителем за тебя стану. А хочешь — к нашему Нико подайся, пусть он тебя в плотовщики возьмет. Артель у него, лес

из Боржоми в Мцхета сплавляет. За эти деньги он примет тебя в долю, и ты живо на ноги встанешь. Теперь, братец ты мой, заработать деньги можно либо на земле, либо на воде. Торговлей тоже можно, но за это дело тебе лучше не браться. Ежели судьба в торговле тебе подсобит и ты, паче чаяния, преуспеешь — пропадешь, честь-совесть свою загубишь. А я такого человека в зятя не приму. Понял? Ежели не выпадет тебе там удачи — и вовсе прогоришь, а этого тебе я тоже не желаю.

...Вот как оно было, вот с чего оно и началось. С той поры Годердзи Зенклишвили все вверх да вверх взлетал, крепко в гору пошел.

Какола выполнил обещанное. Определил Годердзи к своему двоюродному брату Нико плотовщиком.

Плотовщикам по сердцу пришелся молодец — рослый, плечи в косую сажень, сила богатырская так и хлещет, а нрав спокойный, тихий. Он так быстро научился орудовать шестом, такое обнаружил чутье к воде, что за короткое время весь путь от Боржоми до Мцхета наизусть выучил, каждую излучину Куры помнил, где какой водоворот и где стремнины, где мель, где порог, где омут — все знал.

Знал реку и чувствовал ее до того, что и в разгул вешних паводков не боялся плоты сплавлять. Достаточно было двух-трех взмахов шеста в его сильных руках, чтобы подогнать плот к нужному берегу.

Кура — великая чаровница.

Она так околдует, приворожит человека, что жить он без нее не сможет. С Годердзи именно это и случилось: безудержная и мощная в своем вечном стремлении река завладела им безраздельно, он уже и не мыслил, как можно поселиться в деревне и изо дня в день ковырять землю. Даже образ Малало потускнел в его воображении.

И вправду, что может сравниться с упругой живой волной Куры, с ее берегами, то отлогими, зелеными, то крутыми, скалистыми, каких-то фантастических оттенков и форм, с ее широкими песчаными и каменистыми отмелями, с внезапно открывающимися из-за поворота островами с купами деревьев...

Неповторимы вечера на Куре, когда воды ее, побле-



скивая серебром в лунных лучах, движутся и словно не движутся и мнутся сказочной дорогой в обетованные края...

И стала она дорогой для Годердзи — дорогой в совершенно иной мир, полный опасностей, азарта и смертельного риска.

Кто бы мог предположить, что в этом деревенском богатые, внешне таком спокойном, даже застенчивом, таится столько необузданной страсти и удали и столь сильна тяга ко всему необыденному, отличному от того, к чему он привык, что видел, слышал, пережил до сих пор!..

Артель, в которую его приняли по ручательству Каколы, скупала лес в Боржомском ущелье у князей Авалишвили и Сумбаташвили и сплавляла его в Мцхета и Тбилиси.

Лесосплав совершенно поглотил Годердзи. Ремесло это было очень опасным, но и очень прибыльным. К тому же имело оно свою притягательную прелесть и красоту.

Годердзи навсегда полюбил лунные ночи на Куре. ...Сидишь на медленно плывущем плоту из огромных еловых бревен перед ярко горящим костром, попиваешь терпкое красное самебское вино, с бульканьем льющееся из бурдюка, а на вертеле шипит росистый шашлык, и к сияющему ночному небу возносится звучная «мети-вури» — старинная песня плотогонов...

А уж свежей рыбы у них всегда было вдоволь. К плоту прикрепляли годори — плетенную из ивняка конусообразную корзину, и пока плыли от красивейшего авалишвилевского Ликани до сумбаташвилевских угодий в Ташишари, корзина до краев заполнялась курной рыбой — мурцой, лурджей, цимори и немсицверой.

К вину он там пристрастился, да так, что ежели случалось за день ни разу не выпить, настроение у него портилось; печаль овладевала им и какое-то глухое беспокойство.

Среди плотогонов приобрел он много друзей-приятелей, таких же беспечных, щедрых и разудалых парней, как сам.

Незаметно пробежал целый год — тысяча девятьсот

восемнадцатый — не менее бурный и беспокойный, чем предыдущий, хотя Годердзи так и не почувствовал их особенности. Для него дни текли мирно и безоблачно. Порой ему казалось, что так оно и будет всегда, что жизнь его уже не изменит своего русла. Только вот на Малало он женится, скопит денег для ведения зажиточного хозяйства и женится...

Однако Годердзи предполагал, а господь-бог предполагал...

В один прекрасный день в Карели, возле духана Калмахелидзе, что у самого причала, где обычно собирались на стовор и беседы плотогоны, перед Годердзи неожиданно возник разгневанный Какола и наговорил ему рокочущим своим басом такие слова, что парень сразу весь обмяк, точно тряпичный, и, обливаясь холодным потом, глядел на него покорными глазами.

И началась новая жизнь Годердзи Зенклишвили...

В мае тысяча девятьсот девятнадцатого года они с Малало поженились. К ее приданому он добавил накопленные за время работы деньги и выстроил на берегу Куры, где некогда стоял отцовский сруб с глинобитной плоской крышей, маленький, но ладный кирпичный домик с широким синим балконом и небольшим подвалом.

Тяжелое это было время. Сперва с грехом пополам пережили мировую войну; потом кругом стали кричать «революция», мол, «революция», да и свергли царя. Как только до самобского дворянства и богачей дошел слух о свержении самодержца всея России, они, словно сговорившись, все до единого сбежали в город.

Потом пришли меньшевики, но жизнь не стала от этого лучше; деньги потеряли силу, продукты исчезли, народ изголодался.

Однако Годердзи и Малало, ставши едины плотью и духом, не страдали от всего этого: любовь помогала им преодолевать невзгоды и лишения.

Их маленькая семья оказалась крепкой и дружной. Жили они в мире и согласии, таких любящих, преданных друг другу супругов не сыскать было во всем селе.

Время от времени к ним наведывались братья Малало. Интересовались зятем, его нравом, поведением.



И в такие дни далеко вокруг разносился по-прежнему звучный, но уже с легкой сипотцей голос Годердзи. А самому Годердзи в эти минуты казалось, что он все еще там, на плоту, это еще более воодушевляло его, и он кутил с былым азартом и пылом.

Но чем дальше, тем чаще закрадывалась тоска в сердце Годердзи. Особенно чувствовал он это, когда в гости приходили теща с тестем.

Озабоченная Дареджан уединялась с дочерью, уводила ее на огород или в укромный уголок сада, подальше с глаз Каколы и Годердзи, и начинала нескончаемый, нудный допрос, все хотела выискать причину, почему Малало не беременеет.

Давала советы.

Ныла и роптала на создателя...

И то правда, прошло вот уже более полутора лет, а прибавления в семье Зенклишвили все не было, и родители Малало никак не могли разгадать, чья в том вина, их широкобедрой полногрудой дочери или богатыря зятя.

«Кабы знать, наша бесплодна или этот буйвол лупоглазый?» — каждый раз на сон грядущий вопрошала Дареджан мужа, и хотя тот, как правило, на ее вопрос отвечал протяжным храпом, Дареджан так на него наступала, будто Какола и был во всем виноват. «Как же их лечить, если я не буду причину знать?» — кипятилась Дареджан и сопровождала свой монолог негодующим пинком в спину главы семейства.

Всякий раз после визита родителей и матушкиного допроса Малало плакала навзрыд и убегала к соседям. Вот когда жизнь не мила становилась Годердзи, вот когда он видеть никого не хотел, шел на Куру, бродил по берегу и, дойдя до Бериклдэ — Монашьей скалы, усаживался на крутом обрыве, что над водоворотом, и предавался воспоминаниям.

Перед глазами всплывали знакомые картины: поросшие хвойным лесом горы Боржомского ущелья, караваны белых облаков на лазурном небе, зеленоватая Кура в каменистых берегах со своими прибрежными рощами, колышущийся на волнах плот, посреди плота — костер и треножник на нем, а на треножнике — закоп-

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

ченый медный котел, в котором варятся только что наловленные мурца и цимори...

Не выдерживал этого видения Зенклишвили, резко вскрикнув что-то невнятное, вскакивал, как умалишенный, и, срывая с себя одежду, головой вниз бросался в воду.

Вынырнув где-то далеко, он стремительно плыл вниз по течению вдоль берега, до самого Урбниси<sup>1</sup>. Оттуда возвращался обратно пешком, шел неспешно по-над самой водой, в белых исподних, стянутых на талии и щиколотках белыми же шнурками, и взойдя на обрыв, снова вниз головой бросался в воду и снова плыл...

Мощная волна Куры — бодрящая, освежающая, умиротворяла его мятущийся дух, развеивала тоску и дарила таким блаженством, что он забывал обо всем на свете.

Окунувшись в животворную купель Куры, он готов был начать сначала свою не такую уж плохую, но и не ахти какую радостную жизнь.

Однако счастливые часы выпадали лишь в воскресные дни, да и то не всегда. Все остальное время он вместе с тестем и шуринами работал на земле: ходил за плугом, сеял, жал, косил, молотил — и так, как казалось ему тогда, без конца...

Годердзи никому в том не признавался, но землешество он ненавидел. Только и мечтал о том, как бы избавиться от этой постылой работы.

Душой он тянулся к Куре. К ней он был привязан всем своим существом. Кура была для него землей обетованной, его заветным, его мечтой.

И однажды Годердзи не выдержал, открылся тестю — покаялся в своем грехе: ненавижу, мол, землю, отпусти ты меня обратно на Куру.

Спокойно, невозмутимо выслушал исповедь зятя Какола. Умудренный опытом житейским старик и сам до-

---

<sup>1</sup> Урбниси — один из городов древней Грузии на левом берегу Куры, замечателен своим храмом VI века. Там же находятся развалины древнейшей церкви, где проповедовала св. Нина на пути в Мцхета. В XI веке в Урбниси на церковном соборе царь Давид Строитель провозгласил объединение Грузии в единое царство Сакартвело.



гадывался о состоянии зятя, но следовал своему праву — никогда первым не начинать тяжелый разговор. Внешне он был спокоен, только одно выдавало его волнение: энергичнее, чем обычно, крутил он свой длинный седой ус.

Выслушал зятя со вниманием, а потом и сам открылся ему:

— Знаю я, какой огонь тебя снедает, только не отпущу тебя больше на Куру, нет, не могу, и не проси. Но вот что: поставлю я тебе маленькую лесопилку на берегу. Друзей-приятелей плотогонов у тебя хватает, пускай поставляют бревна, а ты распиливай. Дело это прибыльное, к тому же ты и возле своей Куры будешь находиться, и за семьей присмотришь.

Мудрый человек был покойник.

Да разве жизнь даст тебе завершить дело, как задумал, свою волю до конца довести?

Поздней осенью 1919 года в Самеба объявился Сосо Магалашвили. Объявился и перво-наперво Годердзи спросил. Когда гвардейцы привели Зенклишвили к меньшевистскому эмиссару, Магалашвили, заметно постаревший, уже не в чохе, а в английском френче табачного цвета, без погон, но с Георгиевским крестом в петлице, поднялся ему навстречу, подал руку, осведомился о здоровье и повел задушевную беседу. Узнав, что детей у Годердзи нет, с сожалением сказал:

— Жаль, жаль, был бы у тебя ребенок, я б его окрестил, и породнились бы мы с тобой.

Потом он уединился с Годердзи и завел речь о судьбе независимой Грузинской республики. И так все нарисовал, что, казалось, будущее родной страны возложено именно на его плечи, и что если кто-либо может быть ему подмогой в исполнении святого долга, это только самецы и в первую очередь — Годердзи Зенклишвили. Наконец, решив, что собеседник обработан как следует, он категорически заявил:

— Такие патриоты, как ты, должны находиться в Грузинской гвардии, — и, не дожидаясь ответа, внес его фамилию в список призывников. Потом горячо поздравил, трижды облобызал и приказал секретарю при-

нести шампанского, не простого вина, а именно шампанского, которого Годердзи и в глаза не видал.

Когда возбужденный непривычным напитком и всем происходящим Годердзи спускался по парадной лестнице роскошного особняка, принадлежавшего в недалеком прошлом управителю Сацициано, князю Давиду Кирилловичу, он услышал слова (вероятно, намеренно громко сказанные), от которых сердце у него екнуло: «Видать, не все ладно у меньшевиков, коли князь Магалашвили со своим курьером, вчерашним голодранцем, шампанское распивает».

Настроение у Годердзи совсем испортилось после встречи и беседы с тестем.

Узнав, каким манером записали зятя в Грузинскую гвардию, Какола рассвирепел, всякую власть над собой потерял. Куда уж подевались его степенность и солидность! Бывший староста от бешенства бегал взад-вперед по комнате и брызгал слюной:

— Дьявол их побери, и одних, и других, и этих, и тех! И самодержавие, и меньшевиков, и большевиков, будь они все трижды прокляты вместе с этим временным правительством! — гремел Какола. — Мы — крестьяне, наше дело — земля! Не лезь ты в их свару, чтоб они провалились все к чертям, и одни, и другие, и третьи!

Но уже было поздно: Годердзи Зенклишвили чуть не силком увезли в Тбилиси, поместили в Сабурталинские казармы и начали обучать артиллерийскому делу.

Муштровали недолго, но рьяно. Ни днем, ни ночью покоя не было. Спали стоя, как лошади.

Промчались, пронесли галопом дни учебы на батарее артиллерийского дивизиона Грузинской гвардии. Присвоили Годердзи звание младшего командира и отправили его на фронт, воевать с турками.

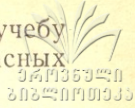
Видно, сам бог хранил богатыря самецца — пуля его даже не царапнула.

В полной сумятице и неразберихе наступил февраль 1921 года.

Артиллерийская часть, в которой служил Годердзи, целиком перешла на сторону Советской власти, и Годердзи Зенклишвили стал бойцом Красной Армии. Надели ему на голову «буденовку», произвели в звание



взводного командира, предложили отправить на учебу в Тбилиси, во вновь организованную школу Красных командиров.



Но не хотел Годердзи никакой учебы, домой рвался.

Там ждала его Малало.

Там шумела Кура.

Там его фруктовый сад, заложенный несколько лет тому назад на бывшей пустоши, этим летом должен был дать первый урожай.

Там — дорогие могилы матери и бабушки.

В начале лета с грехом пополам добрался он до деревни.

Долго-долго стоял на горе Абибо Нэкресели и созерцал родное Самеба.

Слезы сверкали на его глазах — слезы радости.

Был послеполуденный час. Позолоченная солнцем Картлийская долина переливалась многоцветьем красок. Все вокруг так буйно зеленело, что и самое зачерствевшее сердце оттаяло бы от этой красоты.

По ту сторону, устремляясь к востоку, прихотливо извивалась Кура. Отсюда она казалась неподвижной, как небрежно брошенная на землю лента. На севере горизонт замыкали сине-лиловые кряжи Кавказского хребта. В золотистой дымке приглушенно блистали снеговые вершины, и среди них взор сразу выделил Казбеги — самую величественную. На юге чернел родной Триалетский хребет. Дальние селения, разбросанные там и сям, казались не настоящими, а нарисованными на холсте.

Годердзи поглядел на Кинцвисское ущелье, туда, где по его расчетам должен был находиться древнейший Кинцвисский храм Николая-Чудотворца — главная святыня их села и всей Внутренней Картли. Годердзи трижды перекрестился и возблагодарил Кинцвисского ангела-хранителя за то, что вернулся живым и невредимым.

Малало так рыдала, словно мертвым внесли его в дом.

Еще не очнувшись от переживаний и волнений Годердзи деревня показалась обнищавшей и разоренной.

---

Георгий Цидишвили. Одолей алчность свою.

Скот поредел, пашни обратились в пустоши, мужчин стало много меньше, старики еще более одряхтели, а кроме бедности в деревне угнездились какое-то напряженное ожидание — самецкие семьи ждали возвращения ушедших на фронт.

Могилы матери и бабушки заросли крапивой...

Многие сверстники Годердзи либо погибли, либо пропали без вести.

И все-таки молодой Зенклишвили ощутил в этой нищей, потерявшей более трети мужского населения деревне некий новый дух, новую энергию, пробудившуюся в народе!

Над деревенской канцелярией, на балконе которой любил сживать, заложив ногу на ногу и покуривая дорогие, с длиннющим мундштуком папиросы, Сосо Магалашвили, ныне красовалось знамя, и ветер колебал выгоревшее на солнце красное полотнище.

Над входной дверью, поперек, натянута была выкрашенная в красный цвет бязь и на ней крупными белыми буквами было намалевано: «Самецкий сельсовет». На самой двери, на синей бумаге, еще надпись: «Комячейка», — прочел Годердзи. Непривычное слово!..

Какола показался ему удрученным. Будто становая жила у старика надорвалась...

Прижав к своей тощей груди могучую волосатую руку Годердзи, он долго стоял так, замерев, наконец, заговорил. Сперва возвестил ему о гибели двух сыновей, убитых на русско-германском фронте, горестно вздыбал, плакал, бил себя по голове.

Потом пожаловался, что отобрали принадлежавшие ему земли и передали его же батракам.

Потом, проклиная всех и вся, возмущался, что угнали весь его породистый скот, кроме двух коров и пары быков, что конфисковали запасы зерна, даже на семена и то не оставили.

Вдоволь напроклинавшись, он предал анафеме всех самеццев: «Не слыхал и не видал таких зловредных, таких жадных на чужое добро людей, какие сейчас пошли».

Годердзи жаль стало старика. С грустью смотрел он на его шею, некогда крепкую и сильную, теперь тощую, опаленную годами и солнцем, изборожденную морщи-



нами, натруженную, точно вымя подъяремного буйвола. Весь он как-то уменьшился, усох, словно зачерствевшая корка хлеба, в глазах — страх, в движениях — суетливость.

Смотрел Годердзи на тестя, и перед ним вставал прежний Какола — высокий, осанистый, суровый и неприступный, с неизменным Георгиевским крестом на груди и островерхой каракулевой шапкой на голове.

Теперь креста не было, но место, где много лет носился царский орден — предмет зависти и восхищения односельчан, — четко обозначалось: выгоревшая, вылинявшая ткань чохи сохранила в том месте свой изначальный синий цвет.

На плечи его был наброшен короткий овчинный жилет, но старика все равно донимал холод.

Он увел зятя в виноградник и здесь, укрывшись от настороженных взоров домочадцев, стал изливать душу. А накопилось, наболело у него на сердце много чего. Горечь, обида, боль, заботы, страх, недоверие, сомнения, злорадия — все, что наслаивалось в течение долгих лет, чего он никому еще не поверял, не открывал — вылилось, выплеснулось сейчас горьким потоком.

— Видишь, — говорил Какола, по обыкновению вздевая кверху указательный палец, — не обманывали, не лгали священные книги. Скажу тебе откровенно, раньше ведь читал их, а не верил. Теперь же иначе читаю — углубился я в них, читаю и размышляю, и вижу вдвое больше против того, что до сих пор видел... Это, сын мой и брат, истинно второе пришествие!.. Поверь ты мне, вто-ро-е при-ше-стви-е! Слыханное ли дело, чтобы моим горбом нажитое у меня отняли и отдали бы другому потому лишь, что тот, другой — неимущий! А какое мне дело до того, что он неимущий? Не по моей вине ведь он неимущий, разве я у него что-нибудь отнял, что-нибудь украл?.. А неимущий он потому, что сам никчемный, лентяй и бездельник, трудиться не хочет, а на чужое зарится. Сам ни к чему не пригоден, вот в чем дело. Теперь ты мне скажи, бога ради, почему это я должен такому человеку отдавать моим трудом и потом заработанное? Почему?

...Отобрали они у меня земли на том берегу. Отоб-

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

рали, ладно. Дедовский надел тоже отхватили, и большой фруктовый сад отняли, виноградник этот вот располовинили, четыре упряжки буйволов и волов, увели двух коней в армию забрали, и опять нет покоя, понимаешь ты, не отстают, все им мало! Слыхано ли такое дело!?

До самого вечера жаловался Какола, ругался, изрыгал проклятия, исходил злостью.

Высказавшись, выговорившись сполна, разругав и охаяв все, что ему не нравилось (а ему ничего уже не нравилось), он убежденно заключил, потрясая указательным пальцем:

— Нет, не может никакая власть держаться на неправде. Все это скоро рухнет, меня тогда уже не будет, но попомнишь ты мое слово, скажешь — ясновидец был Какола. Или рухнет, или так само собой все изменится, переделается, что и не узнаешь... но то, что будет, — не будет тем, что оно сегодня есть, пусть никто не хвалится, что все то, чего они добились, — он ткнул пальцем в сторону ревкома, — вечно...

Под конец он вернулся к делам Годердзи...

— Послушай, что я тебе скажу, — уже иным тоном заговорил он, испытующе заглядывая зятю в глаза — со вниманием слушает или нет. — Ты их стороной обходи, не приближайся к ним, не вмешивайся. Разве ж они смогут новую жизнь построить, как кричат — построим, дескать! Как бы не так! Они, братец, только чужое отнимать горазды. Ни черта они не построят и ничего не утверждают. Теперь приличному человеку лучше в тени хорониться, — убеждал он зятя. — Так и поступай, пусть себе хоть тысячу раз зовут тебя, просят, ты в их дела не вмешивайся, сиди себе и помалкивай, работай на земле, земля наша единственная кормилица... а теперь и спасительница.

Заметив при этих словах некоторое смущение в зяте, он пустил в ход последний прием:

— Я тебе еще до армии советовал — поставь лесопилку на берегу, говорил я тебе? Так вот, теперь как раз самое время. Помогу я тебе деньгами, а остальное — ты уж сам соображай, сам руками шевели...

— Послушай, — продолжал он, умолкнув ненадолго, будто обдумывая какую-то новую мысль, — тебе,





как служившему в Красной Армии, не откажут: подай прошение, они еще и помогут. Деревня строиться должна, и лес теперь пуще всего требуется...

Однако не один только тесть старался перетянуть на свою сторону растерянного, стоявшего на распутье Годердзи. Сверстники, друзья-приятели с еще большей силой тащили его к себе...

Не перечесть, сколько раз приходил к зенклишвилевскому домишке с синим балконом секретарь сельской комячейки Иасон Сескелашвили! Приходил утром, спозаранок, и поздним вечером приходил... То уговаривал вкрадчиво, то открыто настаивал, то ласково, спокойно убеждал, то криком кричал, горлом хотел взять, — растолковывал, увещевал примолкшего, призадумавшегося Годердзи, упорно твердил, мол, новое время, новые задачи, новые преобразования требуют, чтоб и он изменился, что он, выходец из трудового крестьянства, должен идти одной дорогой с трудовым крестьянством, жить его жизнью, его стремлениями, служить его интересам.

Да разве только Иасон? Старые друзья, которые теперь были комсомольцами, а то и партийцами, не давали ему покоя, говорили, что он сбился с пути, осуждали и всенародно, и на комячейке, все свое красноречие в ход пускали, чтобы наставить упрямца на праведный путь.

Но ничто не возымело действия, решение Годердзи было неизменно.

Слушать-то он слушал и вроде согласно кивал, но отвечал одно и то же:

— Это все верно, только я сам себе голова...

В конце концов всем надоело его уговаривать, на него махнули рукой, окрестили индивидуалистом и единоличником. Годердзи тогда впервые услышал эти странные слова и долго не понимал полностью их смысла. Удивляло его, что слово «единоличник» употребляли как порицание, — разве же крестьянин может не быть единоличником?

Видать, тестю удалось-таки вбить зятю в голову свои воззрения.

Минуло еще время, и все обернулось так, как хотел Какола...

Возле железнодорожной станции Самеба, которая отстоит от самого села примерно на два километра, Кура делает крутую излучину, образуя глубоко вдающуюся в сушу заводь.

На берегу этой заводи Годердзи с помощью Каколы поставил довольно большой навес. Нанял помесечно четырех рабочих, купил несколько плотов. Буйволиные упряжки на цепях приволокли под навес толстые бревна. Самебский торговец, почтенный, всеми в деревне уважаемый еврей Цакуна с лицом библейского пророка, с белоснежными пейсами и бородой, по предварительному заказу доставил две огромные двуручные пилы, так называемые «бирдабири», и работа закипела...

Предвидения Каколы оправдались: откуда только ни повалили к навесу покупатели, откуда ни бежали сюда жадные до стройматериалов крестьяне!..

«Был бы мед, а муха из самого Багдада прилетит», — повторял довольный Какола известную поговорку и подробнейшим образом оприходовал каждый аршин проданного леса в толстую, еще николаевских времен, конторскую книгу.

Тут как раз и подоспел благословенный нэп, и в затаянном траурным покровом сознании Каколы засиял луч надежды...

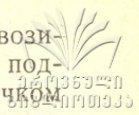
А дела годердзиевой лесопилки шли все лучше и лучше. Этот скромный, незаметный навес приносил такую прибыль, что у Каколы при подытоживании прихода и расхода глаза расширились и он не мог скрыть радостного удивления.

— Слава тебе, всевышний! — восклицал он. — Что за чудо эта лесопилка, на каждый рубль два рубля чистого дохода дает! Раньше надо было браться за это дело, зря я угробил свое здоровье на неблагоприятную пахоту, жатву и всю эту мороку, сколько лет попусту пропало! — говорил Какола довольному успехами зятю.

Охота к делу передавалась от тестя к зятю.

Когда работники втаскивали тяжеленные дубовые





кругляки на высокие распилочные козлы и долго возились, чтобы правильно их расположить, Годердзи подлезал снизу под бревно, натуживался и одним толчком так легко и ловко укладывал на место головную часть бревна, что присутствующие только изумленно переглядывались. Поистине удивительной силой обладал Годердзи Зенклишвили!

Входя в рабочий азарт, Годердзи сбрасывал с себя синюю сатиновую косоворотку, надевал свои армейские латаные брюки-галифе, разувался и босиком вспрыгивал на бревно. Потом, смачно поплевав на ладони, растирал их до красноты и, зычно гаркнув — «И-эх, была не была!», цепко хватался за рукоять пилы и, духа не переводя, пилил бревно до тех пор, пока обе половины не отходили друг от друга.

Годердзи один орудовал вверху, без замены, а работники, стоявшие под бревном и пилившие сверху вниз (что было гораздо легче, чем тянуть пилу снизу вверх), сменялись за это время почитай что три раза.

Годердзи их не ждал и роздыху им не давал. «Жми, поспевай!» — протяжно покрикивал он на работников, и они «поспевали» как могли, а пот лил с них в три ручья и дышали они, как кузнечные мехи.

В работе молодой Зенклишвили воистину был ненасытным и неустанным, что правда, то правда — ни на пахоте, ни на жатве, ни на косьбе, ни на молотье и не в скирдовании не знал он равного во всей округе.

А как за еду садился — смотреть на него было любо. Аппетит с детства имел он отменный. Поставит, бывало, мать перед ним большую глиняную миску, полную мацони либо сыворотки, а Годердзи начинает крошить туда хлеб. Крошит медленно, не торопясь. Потом терпеливо ждет, пока хлеб размокнет. Если даже хлеб свежий бывал, только что из тонэ, он все равно крошил его в мацони. Наконец, когда еда бывала готова, он приступал к ней и неторопливо, аккуратно съедал все до дна. Покончив с одной миской, принимался за вторую, так же неторопливо крошил хлеб, так же выжидал, пока хлеб размокнет, потом тем же манером принимался и за третью. Домашние заканчивали трапезу,

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

а он все сидел да крошил. Но никогда не проявлял в еде жадности или обжорства.

А пил он — как бочка! Пил, но не пьянел. <sup>Казадось,</sup> никогда и не захмелеет. За столом сидеть мог до бесконечности. Наверное, во всей Картли никто не смог бы его перепить. Начав кутить вечером, он, бывало, до самого утра не вставал из-за стола. А наутро разденется по пояс, обмоется холодной родниковой водой и айда на свою лесопилку. И никаких следов бессонной ночи, никакого похмелья!

Нрав у него был такой: за что ни примется, пока до конца не доведет, не успокоится. Начнет, бывало, пилить бревна и не оставит пилу, пока самое меньшее четыре больших бревна не распилит на доски, либо на балки. Начнет окапывать и полоть капустные грядки — пока все грядки не прополет, не присядет. Если косил — обязательно несколько широких полос скашивал. Если за плугом ходил, дневную норму вспахивал за столько времени, за столько другие и полнормы не успевали.

Но страстью его была лесопилка — другой работой он редко занимался. Покончив с распиловкой бревен, вытащит, бывало, железный гребень, расчешет чуб, да и пойдет себе не спеша на Куру купаться, и уходя, подручным своим — пильщикам, как бы невзначай бросит: — «Эй вы, тютти, видали как дело надо делать?» — и хитро им подмигнув, произнесет по-турецки свою любимую поговорку: «Ишак билур сан, хурма наистэр-сан»<sup>1</sup>, хотя никто на лесопилке понять его не мог. Сам же Годердзи, как и многие самецы, владели этим языком.

Подручные не обижались и отвечали всегда одинаково: «Если бы и мы были такими богатырями, как ты, — эгей! В один день все, что тут есть, перепилили бы».

Знали, шельмы, что «начальнику» эти слова приятны.

В один прекрасный день на «годердзиевой лесопилке» появился дизель, работающий на мазуте. Через короткое время залетный немец-специалист привез не-

---

<sup>1</sup> Разве знает ишак, что за плод хурма.



известную здесь и никем не виденную круглую пилу. Вскоре визг и скрежет этой пилы стал раздаваться в самом отдаленном районе Самеба. Дизель шумно дышал, пыхтел, точно человек, работающий какую-то тяжелую работу, и с такой быстротой вращал пилу, что самой этой пилы глазу-то не видать было. В воздухе кружилось что-то блестящее и непонятное, будто и не предмет, а так, неведь что, кружилось с умопомрачительной скоростью и кромсало огромные бревна, как остро наточенный нож — рыбу цимори. И сохрани бог прикоснуться к этой бешено вращавшейся чертовине! Она так бы изрубилась и искромсала любой предмет, что человек и глазом моргнуть бы не успел.

Однажды, когда рабочие занимались своим обычным делом, под навес, где стояла эта адская машина, забрела коза начальника станции (начальник станции был родом из Мегрелии и коровьему молоку предпочитал козье). Козе почему-то не понравилось странное нечто, она сперва изучающе смотрела на пилу, потом разбежалась, со всего маху налетела рогами... и тут же упала бездыханная, с рассеченной надвое головой и шеей. Один рог с половиной головы и шеи упал по одну сторону, второй — по другую.

Разъяренный начальник станции вне себя примчался на лесопилку, учинил страшнейший скандал, кричал и бранился на чем свет стоит, пока не ощутил в своем кармане хрустящие купюры, во много раз превосходившие стоимость козы.

После того случая остервенелое чудовище со всех сторон огородили плетеной изгородью, к которой никого близко не подпускали.

Откуда только ни приходили люди поглядеть на диво.

Часами стояли, вылупив глаза, самецы и кехиджварцы, хведуретцы и летэтцы, цромцы и гомийцы, саголашенцы и руисцы, санэбельцы, урбнисцы, стояли стар и млад и глазели на небывалое зрелище.

Дизель гудел, шумел, а пила то пронзительно визжала, то протяжно ревела басом. Эту пилу, как и лесопилку, тоже прозвали «годердзиевой» и иначе не поминали.

На лесопилке вечно было полно народу. Всякий, кому нужны были балки, стропила, длинные прогоны или чисто распиленные доски, срубал в лесу дерево, обкорывал его, пробивал в комлевой части сквозное отверстие для цепи, второй конец которой прикреплялся к ярму буйволиной пары, и таким образом отволакивал бревно на «годердзиеву лесопилку».

Злые языки поговаривали, мол, зять с тестем такую деньгу зашибают на своей лесопилке, что, захоти они, дворец себе отгрохают и от крыльца до калитки всю дорогу персидскими коврами устелят.

Очевидно, доход и вправду был велик, потому как замкнутый Какола, по виду которого обычно трудно было что-нибудь понять, сейчас не мог скрыть радости и удовлетворения.

Была у Каколы тайна, которую, кроме Дареджан, ни одна живая душа не знала: старую маслобойку, висевшую у них в темном углу погреба, Какола доверху наполнил новенькими «червонцами». Хитер был старик: сам работал на лесопилке с Годердзи, а оба его сына продолжали землепашествовать.

Так что, к середине нэпа Шавдатуашвили снова вошли в силу.

И скот заметно умножили.

И пашню увеличили, и виноградник.

И покосы себе прирезали.

Дом Каколы снова наполнился достатком...

Однако Годердзи не зря любил повторять перефразированную Каколой пословицу: «времена царствуют, но не человеки», — вот и Каколе недолго довелось «царствовать»: в деревне прошел слух, что нэп кончился и все должны вступить в колхоз.

В ранее пустовавший сельсовет и комячейку народ снова повалил валом. До поздней ночи не гас свет в окнах старой канцелярии.

Вскоре в Самеба объявился слесарь-партиец из Тбилиси Вардэн Бибилури — районный центр прислал его сюда председателем вновь создаваемого колхоза.

О Вардэне говорили, что он — «двадцатипяти тысячник». Что означало это «тысячник», никто толком не знал. Председателем сельсовета тоже нового человека прислали, из заречной деревни, Вано Камкамидзе.



Люди отзывались о них хорошо, но Какола при одном упоминании проклинал их на чем свет стоит и каждый день твердил одно и то же: такого зла, как эти революционеры, Грузии не причиняли ни Ага-Магомет-хан, ни Буга-турок, ни Джалал-эд-дин, ни Тамерлан.

Прошло еще немного времени, и Шавдатуашвили раскулачили, как и других самебских богатеев.

Не помогло Каколе, что лесопилка на имя зятя была записана... Все имущество — движимое и недвижимое отобрали, и остался Какола без двора, без кола. Обоих его сыновей, Софрома и Карамана, тоже кулаками объявили и вместе с Каколой выслали куда-то в чужедальние края.

Дородная Дареджан не вынесла разорения и поругания семьи и в день вынужденного отъезда из Самеба скоропостижно скончалась.

Какола же, сломленный духом и телом, не перенес трудностей дальней дороги и умер в пути.

Лишь спустя время до Самеба дошла печальная весть: на каком-то богом забытом сибирском полустанке тело бывшего старосты снесли с вагона и похоронили там же, возле железнодорожного полотна, похоронили без гроба, завернув в драное байковое одеяло.

— Никого из близких при нем не было, умер одиноким, холодным, голодным, беспризорным! Горе мне, горе!.. В чужой земле, неоплаканного похоронили несчастного!.. — убивалась, рыдала осиротевшая Малало.

Дом и имущество Годердзи, правда, не тронули, но лесопилку отобрали. Отобрали, объявили ее государственным предприятием, однако поскольку в дизеле и пиле никто, кроме Годердзи, ничего не смыслил, заведующим опять-таки его поставили и положили ему ежемесячное жалованье.

Годердзи и сам не ожидал, что после всего того, что случилось с тестем, он заживет безбедно.

Трудился он в поте лица, охоты и энергии у него даже поприбавилось. И кутил с прежней удалью, с блеском руководил застольем, и полузабытые песни с прежним огнем распевал, а иногда, разошедшись вовсю, и в пляс пускался, вольно раскинув могучие руки.

— Чему ты радуешься, несчастный, чего песни рас-

певаешь, подожди немного, хоть из приличия подожди, пусть кончится траур по моим родителям, — Срамила его плачущая Малало.

А деревня менялась день ото дня и час от часу.

Прошло еще несколько лет, и Самеба стала районным центром. Если прежде самецам по любому делу приходилось ездить в Гори, сейчас власти находились здесь же, на месте. Недавние сельчане гордо задрали головы — мы, мол, нынче райцентр!

В господском доме обосновался исполком.

В доме бывшего генерала, коренного самецца, князя Давида Кирилловича — райком.

Шавдатуашвилевский дом занял райпотребсоюз.

В усадьбе Эдишера Гогичайшвили разместилась контора «Заготзерно».

Всевозможные учреждения вылуплялись, как цыплята, один за другим. Кооперативный магазин, лимонадный завод, МТС, суд, прокуратура, милиция, райземотдел, читальня, амбулатория, агитпункт...

Рядом со старыми зданиями вырастали новые: выстроили двухэтажный клуб, библиотеку, детский сад, больницу. Самеба изменилась, навсегда утратила былой покой, тишину и свой деревенский облик. Теперь село было уже не село, однако и городом не стало.

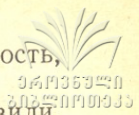
Жизнь не ключом была — водопадом мчалась, и нельзя было отстать от ее бешеного бега.

И Годердзи старался не отстать. Все дни, от зари до темна, проводил на лесопилке. Лишь глубоким вечером отворял скрипучую дверь своего дома и, как подкошенный, падал на постель. Этот богатырь, человек-гора, от усталости порой и ужинать был не в состоянии.

— Чего ради убиваешься, кого ради! Детей у нас нет, а нам много не надо, если себя не жалеешь, хоть меня пожалей. Одичала я от одиночества... Чины и награды они тебе все равно не дадут, памятник тоже не поставят, что же ты из сил выбиваешься, из кожи лезешь? Думаешь, спасибо скажут? Как бы не так! Они же неблагодарные, им что хочешь сделай, добра не помнят, — приговаривала Малало.

Годердзи хорошо видел, как изменилась от всех невзгод и бед, так неожиданно и сразу свалившихся на ее голову, миловидная и в сущности еще молодая же-





на. Осунулось ее лицо, глаза утратили былую живость, в волосах появилась седая прядка...

«Неблагодарные» все же оценили труд Зенклишвили, объявили его ударником, на доске почета его фотографию повесили и даже в газете сямебской МТС «Красное Самеба» напечатали про него целую статью.

Годердзи никогда так не радовался деньгам, которые с удивительной точностью отсчитывал и вручал ему покойный Какола, как обрадовался этой бессребренной чести.

Он ходил по улице с высоко поднятой головой, и все знали, что правительство смотрит на него благосклонно. И молва о нем шла хорошая. «Порядочный человек», — говорили люди.

Лесопилка работала непрерывно. Если, случалось, одна пила выходила из строя, ее тотчас заменяли другой, если у круглой пилы зубья затупевали, Годердзи моментально подсаживался к ней с напильником в руках и так натачивал, так выправлял зубья, что после этого она разгрызала огромные дубовые бревна, как тростинки.

Так, в трудах и делах проходили дни. И вдруг Годердзи вызвал к себе сам председатель райсовета, грозный и неприступный Пета Цховребов.

Годердзи это не понравилось. Где-то в тайниках души встрепенулся страх. До этого Годердзи ни разу в жизни не переступал порог ни райкома, ни райсовета, и вот, нате вам, сам председатель его зовет!

«Ежели он прошлое мое ворошить станет, — размышлял по дороге Годердзи, — какие такие грехи есть за мной? Да, была у меня собственная лесопилка, но я ее государству сдал! Вотчины не имел, домов тоже. Какого же черта им от меня надо? В черной сотне не состоял, в черном списке не числился. Если спросят, почему у меньшевиков в армии служил, во-первых, служил-то без году неделю, а во-вторых, не я к ним пошел, а они меня обманом залучили. Почему, мол, на дочери кулака женился? Вот еще, женился и все тут! А чем она плоха? Если скажут, где, мол, деньги, которые ты и твой тесть накопили, так я-то при чем, деньги Какола у себя дер-

жал, я и по сей день не знаю, нашли они их при <sup>обьске</sup> или нет, может и сейчас где-то лежат.»

Годердзи, опустив голову, шагал по дороге и <sup>размышл</sup> лял, пытаясь предугадать все те вопросы, которые ему мог бы задать Пета.

«Эге-ге, жизнь-то какая штука, — саркастически улыбался он. — Пета-батрак целым районом заправляет, треснула бы твоя башка, Пета, а!..»

Но неожиданно для Годердзи Пета Цховребов встретил его очень приветливо и вежливо, встал ему навстречу, сесть предложил, справился о здоровье, о делах.

Удивленный приемом Годердзи сдержанно отвечал на вопросы председателя и исподлобья его разглядывал.

Пета держался просто. Разговаривал спокойно. Время от времени открыто улыбался и, опираясь локтями о свой огромный резной письменный стол, внимательно глядел на заведующего лесопилкой.

Поговорили о том, о сем, потом Пета вдруг встал, подошел к Годердзи и спросил другим каким-то тоном:

— А знаешь, товарищ Годердзи, в чем у нас нынче самая большая нужда?

— В чем? — простодушно спросил Зенклишвили.

— В кирпиче.

— Чего? — не понял Годердзи.

— Кирпич, говорю, необходим, строить больно много надо, а кирпича и нет. Потому решили мы выстроить кирпичный заводик возле большого урочища и обжигать свой собственный кирпич. Глину дали знающим людям посмотреть, они очень даже одобрили, сказали — первосортный кирпич получится. Так вот, дело это поручаем тебе. Руководить, значит, будешь заводом.

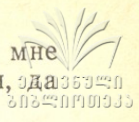
— Да ты что, Пета, разве ж я в кирпиче смыслю?!

— А ты не бойсь! Сперва ты дело изучишь, а потом оно само тебя научит, что к чему, само поведет.

— Нет, братец ты мой, только не это, а так — хоть голову с плеч!

— А мы этот вопрос уже решили, назначили тебя директором, и делу конец. Больше того — и помощников тебе подобрали: восемь человек из местных евреев выразили желание заняться физическим трудом, тебе их и дадим.





— Ты что говоришь, Пета, дорогой, для чего мне евреи, кто слышал, чтоб евреи физически работали, да еще глину месили! Что они мне за помощники!

— На первых порах глину ногами придется месить, пока специальные машины привезем. Не станешь ведь ты сам глину месить!

— Зачем мне ее месить, милый ты человек, сроду я грязь не месил.

— То-то и оно-то, евреи займутся этой глиной. Мы им и бригадира назначили, Мордэха Манашерова знаешь небось?

— Как не знать, знаю, плут, каких мало... Торгует вишней и дикими яблоками в поездах. Что это за рабочий!

— Ты, Годердзи, на людей другими глазами посмотри, по-новому на них взгляни. Старые взгляды ты теперь отбрось. Люди жаждут труда, свободного труда, понял, товарищ Зенклишвили? А что до евреев, ты, вот, говоришь, они физически не работали, да, на земле не работали, а какие они труженики, сам небось, знаешь, — ремесленники первой руки, за это их у нас издревле уважают. А знаешь ли ты, сколько чего они миру дали, да и нашей Грузии сколько добра принесли!

— Да что ты, Пета, разве я могу что-нибудь против них иметь! Только глина, если меня спросить, не их ума дело. Да и Мордэх твой — пройдоха, они и сами его знают, он им головой не сгодится.

— Ты, друг Годердзи, человеку с ходу приговор не выноси. Ежели так судить, мы и тебя звать не должны бы, и за тобой грехи водятся. Однако ж теперь мы так смотрим: трудовой народ объединить надо, спать надо, и кто старое помянет — тому глаз вон. Словом, даю тебе еще день на размышление, а сейчас ступай и обдумай все.

Провожая Годердзи до дверей, Пета завел речь о специалистах, мол, вынуждены мы к старым спецам обращаться за помощью, но не на всех них положиться можно, некоторые вредительством, мол, занимаются. Годердзи не понял, не его ли имел в виду председатель?..

Сколько раз вспоминал потом Годердзи эту встречу,

столько раз удивлялся и недоумевал, что дало такую силу недавнему батраку Пета Цховребову, откуда в нем появилось столько уверенности. Он так твердо говорил с Годердзи, казалось, заранее в подробностях продумал всю беседу, взвесил все вопросы и ответы.

А дня через два Годердзи, загоревшись ему самому непонятым азартом, вместе с приехавшим из Гори инженером подыскивал место для строительства кирпичного завода. Впервые в жизни переживал он такие горячие дни, полные забот, волнений, трудов. Он сам не мог понять себя, не понимал причины своего поведения. Он наставлял рабочих, спорил, ругался с начальством, бегал за материалами, и все это под страхом не провалить порученное дело, причем дело-то было не свое, личное, а чужое, общественное. И когда он об этом вдруг подумал, он сам себе удивился. Это было ново и странно. Ведь никакой личной выгоды он не искал, а работал с таким увлечением, с такой самоотдачей, будто строительство завода было кровной его заботой.

Вместе с тем, жило в нем какое-то ожидание. Что-то радостное, светлое предвещало ему сердце.

И свершилось удивительное: в тот самый день, когда завод выдал первую партию кирпича, Малало почувствовала первое движение ребенка!

Супруги в изумлении смотрели друг на друга и не могли поверить, что счастье, о котором долго и страстно мечтали, так неожиданно вошло на их порог...

На следующий же день, ранним утром, повез Годердзи сияющую жену в Хашури, к известному врачу Григолу Цицишвили. Вечером супруги Зенклишвили с еще более сияющими лицами возвратились домой. Ни муж, ни жена не скрывали радости. Они не ходили — летали, не говорили друг с другом — ворковали.

С той поры никто не слышал, чтобы Годердзи говорил с Малало повышенным голосом.

Шутка ли, сколько лет тщетно ждали они этого, и вот теперь, когда и муж, и жена перешагнули в четвертый десяток, судьба послала, наконец, сына (а в том, что родится сын, Годердзи ни на миг не сомневался).

И правда, родился сын!

Крупный, пухленький, большелобый мальчик...



— Вылитый отец! Ну до чего похож, до чего похож на твоего богатыря, а? — щипая Малало (чтобы не сглазить младенца), дивились соседки, приходившие поздравить роженицу.

А Годердзи на радостях потрянул стариной: загулял, закутил. Несколько дней даже на работу не ходил. Домой возвращался до того упившись, что на ногах еле стоял. Войдет, бывало, в комнату, первым делом Малало расцелует, спросит, как ребенок, потом подхватит с полу колыбель, себе на плечо поставит и пройдетесь в пляске «Багдадури».

— Осторожно, сумасшедший, упаси господь, упадешь и колыбель уронишь, погубишь нас! — обмирая со страху, молила Малало.

Но Годердзи ничего не слышал, плясал. Сам пел, сам плясал.

Мальчика нарекли Малхазом, что одновременно означает и быстрый, и красивый.

\* \* \*

...Когда дело доходило до сына, нить размышлений Годердзи обрывалась.

Малхаз был не только единственной радостью, но и единственной заботой, единственной раной, единственной кручиной отца...

Нет, не оказался Малхаз таким сыном, о котором мечтал Годердзи!

Совсем другой нрав, совсем другие наклонности были у кудрявого парня, совсем другие стремления туманили его голову.

Настойчивостью и целеустремленностью он обладал не меньшими, чем отец, только цели у него были иные.

Непонятым, чудным парнем вырос Малхаз, и не легко было заглянуть ему в душу. Годердзи очень старался, но не мог разгадать, к чему же стремится его скрытный, замкнутый, не по-юношески задумчивый сын.

А тут еще Исак Дандлишвили не дает покоя, выматывает душу. Давно уже этот пройдоха каркает: вижу, времена обязательно изменятся, потому пока есть возможность, будем пользоваться как можно больше.

А куда больше? Они втроем столько загибают, что

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

Годердзи со страху ночи не спит. Все ждет — вот сейчас нагрянет ОБХСС, вот сейчас...

Эх, какая безмятежная жизнь была у него раньше, пока не назначили его на эту проклятую базу, пока не стакнулся он с чертовым Исаком и жуликом Серго.

Дома упрямец сын его донимает, на работе эти паскуды жизнь отравляют. Как тут выдержишь — ни с одной стороны, ни с другой покоя нет! Ведь должна же быть у человека хоть какая ни есть тихая обитель, хоть где-то должен он голову преклонить, а Годердзи как на медленном огне жарят.

— Эй, Миша, оглуши тебя создатель, закрывай варата! — последние два слова Годердзи, как всегда, орет по-русски.

— Какое время «закрывай варата», только четверть шестого! — в тон хозяину откликается Миша. — Народ шуметь будет.

Закрывай варата, говорю! Шуметь будет и пусть себе шумит, черт их всех дери!

В паршивейшем настроении шагал Годердзи к дому. Порой ему казалось — ноги сами, независимо от его воли, несут отяжелевшее тело.

Дурные мысли овладели заведующим базой. У него было такое чувство, будто он по собственной беспечности оказался в страшной опасности. Сейчас он остро ненавидел Исака, потому что все эти мысли и чувства так или иначе были связаны именно с ним.

Еще издали увидел он свой дом с громадной лоджией, с белыми колоннами, с несколькими балконами. Дом стоял на холме, точно княжеский замок.

Вот и этот дом он затеял строить по настоянию Исака и убухал на него прорву денег.

Строил и ужасался: а вдруг да начнут доискиваться — на какие деньги строишь, откуда — что отвечать? Что говорить?

Каждый день об том думал. И все же каждый день что-то новое добавлял на строительстве. Мастеров привозил то из Гори, то из Тбилиси. Торопился, спешил, будто и вовсе крова не имел, и боялся, что зима вот-вот нагрянет.

Возвращался он домой поздно и всегда в разное время, и тем не менее Малало выходила встречать его



16935940  
592 010333

именно в тот момент, когда он отворял скрипучую калитку. За всю их долгую совместную жизнь не было случая, чтобы она не встретила у порога вернувшегося с работы мужа.

Вот и сейчас Малало, полуулыбаясь, стояла в дверях и смотрела на мрачного, хмурого Годердзи. Конечно, она тотчас заметила, что он не в духе.

Годердзи медленно поднимался по мозаичным ступеням, тяжело опираясь на перила с широким мраморным поручнем.

Не понравился Малало такой его облик, но она не подала виду и ничего не спросила. Знала, что сам все расскажет.

— Малало, голубушка, нагрей-ка воды, искупаюсь я, чего-то затылок давит, видать, давление поднялось.

— Да уж сколько ты вина дрызгаешь, еще хорошо держишься... все зло от него, от проклятого...

— Ах, только от него, да? А то, что у меня работа такая, от которой мозги закипают, это, по-твоему, ничего? — с неожиданной запальчивостью произнес Годердзи и вперил укоряющий взор в растерявшуюся супругу. — Э-эх, не зря говорится, бабий ум коза сжевала!..

— Чего ты убиваешься, несчастный, коли так — наплюй на все, одолей свою алчность, уйди с этой базы, если хочешь, другую работу себе подыщи, а хочешь — на пенсию выходи. Слава богу, у нас ни в чем недостатка нет, одеты, обуты, сыты, чего же еще надо?

— Бабий ум коза сжевала, слыхала, нет?

— Лучше признайся, что жадность и гордыня тебя заели.

— Всему этому научил меня, светлой памяти, твой отец!

— Моего отца оставь в покое! Уж кому-кому, а не тебе его корить, это он тебя на ноги поставил, он в люди тебя вывел, неблагодарного!

— А что худого я сказал? Говорю, он меня всему научил, только и всего. И по девицам шляться тоже... помню, ездили мы с ним в Гори, к Шалибашвили... Э-хе-хе, ну и времечко было, а!

— Позор, позор, стыд и позор! Ой, чтоб ослепли

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

твои глаза, иродище ты этакое, не смей больше такие бесстыжие слова говорить о моем отце, не то, ей-богу, утоплюсь! Мой отец его научил, слышали! Бесстыдник! Что ты за овечка, я хорошо знаю!

Подобные беседы не раз можно было услышать в ванной комнате Годердзи.

Эта ванная, о которой столько толков ходило в селе, помещалась в первом этаже дома.

В одной из комнат был устроен бассейн длиной в пять и шириной в три метра. Глубина тоже была порядочная — вода достигала Зенклишвили до груди, когда он стоял.

Бассейн был выложен голубым кафелем, и вода от этого отсвечивала голубым. Стены комнаты тоже были облицованы кафелем, только желтым. В смежной с ванной камерке стояли два водонагревных бака, топливом служила солярка, для которой во дворе, рядом с домом, находилась полузарытая в землю цистерна, так что даже в самые большие холода в годердзиевой ванной можно было купаться и наслаждаться теплом.

Здесь, в ванной, царили умиротворяющий покой и тишина. В бассейне колыхалась голубоватая вода, маня своей прозрачностью и чистотой.

Годердзи плюхался в бассейн, поначалу плескался, как ребенок, потом плавал от одной стенки к другой, ложился на спину и долго лежал так, с шумом выпуская фонтаны воды изо рта. Потом, внезапно перевернувшись, нырял, упирался ладонями в дно бассейна и через несколько секунд всплывал на поверхность, отфыркиваясь, трясая головой.

В ванной он отдыхал, отвлекаясь от всех мыслей и забот.

— Курная вода, потому такая благодатная, благослови бог ее волну... Эй ты, женщина, я должен оставить базу!..

Это был его излюбленный прием, перешедший в привычку, — самое главное и серьезное он говорил как бы в шутку. Вот и сейчас трудно было понять — шутит он или правду говорит. Но Малало слишком хорошо знала своего мужа.

— Ой, господи, это зачем же?!



— Вот тебе и на! Не ты ли только что говорила — брось, мол, уйди? Вот я и принимаю твой совет...

— Да это я так, слова одни, а то зачем же бросать базу, чем тебе там плохо? Мальчика женить надо...

— Получается, что... охо-хо-хо, какая вода, какая вода! Получается, что не я жадный и спесивый, а ты и твой сын!.. Или не так говорю, а? Значит все твои слова одна трескотня. Говоришь одно, думаешь другое, а делаешь... Ах, какая вода! — а делаешь третье, как наш управляющий трестом!..

— Ну и бросай, бросай, очень мне надо, сам жалеть будешь, мне-то что, мне всего хватает!

— А почему же тебе не хватило двадцать кило мохеровых ниток, которые тебе принесли, и ты еще двадцать заказала? У твоего сыночка почитай пять отрезов на костюм лежат, но тебе все мало, ты поручила сурамским спекулянтам достать еще один, обязательно шоколадного цвета!

— Чего доброго, ты велишь нам и вовсе раздетыми-разутыми ходить! Единственный сын у тебя, единственное чадо, и для него жалеешь?

Жалеет?.. Для сына жалеет?..

И вот опять — опять речь зашла о сыне!

Опять сын завладел его мыслями...

Опять затронули то болезненное место, которое причиняет ему страдание.

Сын,

Сын,

Сын!..

\* \* \*

Малхаз родился утром на Рождество.

Некогда большой праздник этот сейчас в Самеба отмечали лишь некоторые, да и то тайно.

Подходил к концу грозный, полный потрясений тридцать седьмой год...

Когда повивальная бабка Мариам Сескелашвили подбросила на руках новорожденного, громко приговаривая: «возрадуйся, очаг, ослепни, враг», Годердзи

---

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

украдкой перекрестился, потом стукнул себя кулаком в грудь и, взволнованный, проговорил:

— Теперь, если и арестуют, без корня не уйду. Не сгину!

Окинув долгим благодарным взглядом бледную, но сияющую радостью роженицу, он нежно поцеловал ее в холодный почему-то лоб и быстро вышел.

До самого утра гулял, веселился счастливый отец, до утра пил и слушал шарманку в калмахелидзевском духане на берегу любимой Куры, у причала плотов. Приглашал к своему столу всякого, кто входил в духан.

На рассвете, когда подошли новые плоты, он позвал всех плотогонов, объявил их своими гостями и велел запереть двери, никого не выпускать и чужих не впускать. Журна играла традиционную «Утреннюю зарю», и Годердзи пел так, что голос его был слышен на другом берегу Куры. Потом все поднялись по его слову и отправились на могилу его матери. Там, по обычаю окропив могилу вином, Годердзи опустил на колени и, трижды стукнув кулаком по могильной земле, воскликнул: «Мама, у меня родился сын, — твой внук, слышишь! Возрадуйся, ибо род наш не погиб!..»

Время промчалось — что конь галопом. Страшная пора миновала. Жизнь потекла по нормальному руслу.

Снова Зенклишвили поднял голову, снова загорелась работа в его руках.

Но теперь, едва кончался рабочий день, ему уже не сиделось на заводе — он рвался домой. Там его ожидало большелобое маленькое существо с медовыми, как у матери, глазами.

Приятным, милым ребенком рос Малхаз, смысленный, пухленький, с каштановыми кудряшками, как у девочки, рассыпанными по плечам. Он рано пошел и говорить тоже рано начал. Несмотря на то, что родители баловали ребенка, характер у него не испортился и он не был капризным. Был таким, как и все его сверстники-самецы.

Зенклишвили жили тогда в том самом домике, который Годердзи выстроил еще при жизни матери и бабушки.



Правда, они не нуждались, как прежде, но и не ахти как богато жили. Однако на судьбу не жаловались — зарплаты, которую получал Годердзи на кирпичном заводе, и маленького приусадебного участка для безбедного существования вполне хватало.

В те блаженные времена дружные супруги, несмотря на скромный достаток, жили спокойно, и червь алчности еще не угнездился в их сердцах.

Однако снова налетел свирепый ветер, и беспощадная судьба швырнула Годердзи в самое пекло...

Спустя ровно неделю с начала Великой Отечественной войны, 29 июня сорок первого года, он с маршевым батальоном находился в Смоленске...

Четыре года шагал он по орошенным кровью дорогам войны, в стужу и жару, в снег и в слякоть.

Четыре года балансировал между жизнью и смертью, как вздыбленный конь на краю пропасти.

Дважды его ранило, раз контузило, но он все выдержал, все вынес, все переборол и на исходе июня незабываемого сорок пятого вернулся в родное село.

В первый же день приезда, торжествуя и ликуя, он вместе с односельчанами отправился на косьбу и на радость окружавшим его соседям косил так, словно каждая травинка была вооруженным фашистом.

Вернувшись с войны, Годердзи и не узнал сына.

Он глядел на него и недоумевал, как за четыре года ребенок успел так измениться. Его встретил крепко сбитый, плотный и рослый мальчик. Густой чуб спадал на широкий лоб, карие глаза смотрели смело и сосредоточенно.

Первое, что Годердзи услышал дома, были похвалы сыну. Девятилетний Малхаз перешел в третий класс и считался самым лучшим учеником. Все учителя были довольны спокойным, разумным и смысленным мальчиком.

...Ранним утром, когда Годердзи с колотившимся сердцем распахнул дверь своего дома, бросил на сундук скатку шинели вместе с вещмешком и прерывающимся от волнения голосом громко крикнул — «Малало!» — из задней комнаты выбежала побелевшая, обомлевшая от внезапной радости жена.



Выбежала и, увидев долгожданного мужа, ~~вскрикнула~~ <sup>вскрикнула</sup> пронзительно и, как подкошенная, ~~повалилась~~ <sup>повалилась</sup> без чувств.

Годердзи бросился к ней, поднял на руки, прижал к груди и долго-долго целовал.

А Малало лепетала что-то, плакала в голос. Лицо у него стало мокрым от ее слез.

Годердзи отпустил наконец жену и, лишь когда оглядел столь знакомую комнату, заметил возле окна мальчугана.

Он стоял, держась рукой за подоконник, и терпеливо дожидался, пока на него обратят внимание.

У Годердзи словно что-то оборвалось внутри. Он быстро шагнул к сыну, и из пересохшего горла вырвался чужой, сдавленный голос:

— Малхаз, это ты?

— Отец вернулся, сыночек, твой отец, подойди к нему! — как-то чересчур громко и высоко крикнула Малало.

Мальчик подошел несмело, бочком, и покорно встал перед богатырем в военной форме.

Годердзи стремительно нагнулся, подхватил сына на руки, поднял и подержал несколько мгновений перед глазами, пристально его рассматривая, потом прижал к груди и долго держал так притихшего, замершего, словно птичка, ребенка.

Когда улеглось первое волнение и оба расспросили друг друга о том, что более всего не терпелось им знать, Малало проворно накрыла стол, принесла из марани кувшин, полный тавквери, и созвала соседей.

Она не ходила — порхала, и украдкой все поглядывала на мужа, который казался ей каким-то другим, посуровевшим и еще более огромным.

Постепенно собрались соседи, заполнили комнату. Зазвучали приветствия, возгласы, шутки, причитания, смех, плач, начались нетерпеливые расспросы, словом, поднялся невероятный шум и гвалт.

Наконец все поутихло, уселись за стол, осушили первую, переходившую из рук в руки, до краев полную красного вина керамическую чашу, и кров Зенклишвили, столько времени грустивший в тишине, огласился звуками счастливого застолья. Плавно полилась торжественная и мужественная «Мравалжамиэри».



Малхаз сидел подле отца и молча созерцал пока еще незнакомого ему огромного здоровяка в линейной гимнастерке с пятнами пота на плечах и подмышках, которого так долго и упорно ждали и который оказался таким не похожим на образ, созданный в детском воображении.

— Папа, — тронул его за руку Малхаз, — ты что, плохо воевал?

— Ой, чтоб я ослепла, что значит «плохо воевал», твой отец два раза был ранен!

У Годердзи упало сердце.

— Почему ты решил, что я плохо воевал, малыш?

— А потому, что у тебя всего один орден. Остальные-то медали? А у некоторых, я сам видел, вся грудь в орденах. Вот Андро Бабилидзе, например, четыре ордена привез...

Наступило неловкое молчание. Годердзи покраснел, смешался.

Простодушные слова сына, как серпом, резанули его. Они прозвучали, словно обвинение.

В глубине души он и сам не раз об этом думал...

— Это, сын мой, кому как повезет, — негромко ответил он.

— Нет, это не от везения, — резко, непреклонно возразил третьеклассник.

— А от чего же? — точно извиняясь, улыбнулся Годердзи.

— Это от героизма.. И учительница Нато нам так объясняла, — с уверенностью ответил Малхаз.

Присутствующие заметили смущение Годердзи и, чтобы избавить его от неприятных вопросов сына, начали громко смеяться.

Годердзи навсегда запомнил тот первый диалог и упорство сына. Как у молодого, не знающего ярма быка, готовящегося к схватке, изогнулась тогда шея у мальчика...

«Без меня рос, потому такой... еще и не привык ко мне толком», — думал Годердзи и утешал себя тем, что ребенок в конце концов оттает и обязательно проникнется сыновней любовью к нему.

Но Малхаз продолжал оставаться замкнутым, ко-

лючим и неприступным. Как ни старался Годердзи, не смог он найти путей к сыну.

А время бежало с быстротой молнии.

Отец работал день и ночь, Малхаз занимался и читал, читал книги.

Встречи их были кратковременными, и после двух-трех вопросов, всегда одних и тех же, которые задавал сыну Годердзи, оба чувствовали, что говорить им больше не о чем.

Малхаз учился прекрасно. Не по годам развитой мальчик был примером всей школы.

Еще будучи учеником пятого класса, Малхаз смастерил электрифицированную карту Грузии с обозначением месторождений полезных ископаемых и крупных производственных объектов. Нажмешь одну кнопку, и загораются крохотные лампочки в тех местах, где добывается каменный уголь. Нажмешь другую кнопку, и лампочки покажут тебе, где имеются залежи марганца, олова, мышьяка... или где находятся винодельческие заводы либо цитрусовые плантации, чайные фабрики либо прядильно-трикотажные комбинаты и бог весть что еще.

Когда Малхазу понадобились лампочки для этой карты, он выпросил у матери деньги, купил несколько десятков карманных электрических фонарей, разобрал их, вывинтил лампочки, а батареи и футляры побросал в чердак.

Годердзи, узнав про эту историю, призвал к себе сына, посмотрел карту, спокойно расспросил его, как он все это сделал, похвалил работу, но выговорил за расточительство. «Это все равно, как если бы тебе понадобилось двадцать гусиных перьев, — сказал он насупившемуся, нахохлившемуся мальчику, — и ты купил бы двадцать гусей, выдрал бы у каждого по одному перу, а гусей бросил бы в реку».

Малхаз выслушал отцовскую притчу, насмешливо поглядел ему в глаза, но сказать ничего не сказал. Такая у него была манера: внимательно выслушает, и ничего не ответит, но сделает все-таки по-своему.

Годердзи очень не нравилась самоуверенность сына, его чрезмерное упрямство, но он понимал, что переделать его не так-то просто.



## МУЗЫКА СО СЦЕНЫ

I.

В сине-синем  
и море,  
и горы,  
и тьма,

А над морем качается жизнь —  
в чем-то странная.

Мой ли стих там витает?

Он твой.

Ты сама

в нем восходишь,  
вселенна моя безымянная.

Плачет, плачет свирель,  
бьется, бьется волна —  
голос слабый, звук малый, свирельный.

Веришь,

что и во мне

и во всем тишина —

Тишина глухоты?

Нет, не веришь!

Страсть вскипает

и рвется огромной волной,

влагой полнится,

волны всем телом приемлешь,

Веришь ты

в сумасшествие воли земной

и в смятенность всеобщую?

Нет, не веришь!

Море белое,

всюду рассветно бело,

жизнь витает над морем

нетленная.

Мой ли стих начинается? —

Ты сочинила его,

безымянная,

сердцу родная вселенная.

Смех звенит  
из невидимых дальних годин.  
Голос века грядущего  
сладок, неведом.  
Верю я,  
что потемки и сумрак над ним  
уничтожат  
пространство и время  
рассветом.

## ТЕАТР

Театр и сцена — та же осень,  
На всем — опавших листьев цвет.  
Пусть занавес лучом согрет,  
И все ж театр напомнил осень.

Среди воды так остров тонет.  
Сидишь — партер во власти чувств,  
Овации. Но звук их пуст —  
Он существо мое не тронет.

Фольклора чистого осколки  
Кидают эхо в шумный зал.  
А танец длился — он дерзал.  
Лишь ветер рассмеялся колкий.

Над чем он так?  
Догоним, спросим...  
А мне театр напомнил осень.

●

Боль восходит, и множатся крики,  
Каждый крик — о надежде одной.  
Белый конь, необузданный, дикий, —  
Время вздыбилось над головой.

Как прохлада, ты таешь в печали,  
Ну, а солнце бьет метко, под дых.



Вдруг заметишь: цвета полиняли  
И волос, да и платьев твоих.



Удивишься — душа выцветает,  
Когда ставни закрыли весну,  
Повторенный мотив утомляет,  
Мозг усталый клонится ко сну.

Нет времени на отпеванье  
Этой боли. Успеем в одном —  
Чтоб вернулись калеки-желанья,  
Ожиданья утешим вином.

Боль поет: в голосах без участия  
То ли стон, то ль улыбка слышна;  
Ты одна и в чужое ненастье,  
И под солнцем чужим ты одна.

## ДЕТСТВО

Здесь светло,  
шепчет каждая арка и фреска,  
в храм без бога войди —  
он таит и тепло и беду.  
Здесь весна,  
и в гнезде паре ласточек тесно,  
и не будет птенцов —  
этой мукой себя изведу.  
Ты не хочешь прийти,  
чтоб помочь обессиленным птицам.  
Рыбкам в клетке стеклянной  
чудес не спасти —  
приголубь их рукой,  
радость к ним возвратится,  
и у рыб золотых  
что угодно потом попроси.  
А рука далека,  
совесть дальше: рука — отраженье...  
Посмотри — расцвела  
роза в храме  
без острых шипов,  
и навстречу тебе

куст цветущий пойдет на сближенье,  
весь свой путь окропив  
алой кровью своих лепестков.

А войдем —  
наш приход  
будет счастьем для старца седого:  
обещали с тобой  
мы его слепоту исцелить.  
Он поверил и ждал —  
мы нарушили данное слово,  
добрый смысл наших клятв,  
то, во имя чего стоит жить.



Под куполом небесной глубины  
Ночь Грузии  
восходит ясным ликом,  
А своды,  
что мечтой возведены,  
Открыты обещаньям и молитвам.

Ты, Грузия, — нерукотворный храм,  
Воздвигнутый с любовью и отвагой.  
Позволь, прошу,  
припав к твоим стопам,  
Тебе служить  
и верою и правдой.

Перевод Наталии ДАРДЫКИНОЙ





**А**ВТОР нижеприведенного повествования Афредерик Я-с, учтя реальную нехватку в национальной литературе проявлений фантастического жанра, решил во что бы то ни стало создать, следуя малопроторенными путями-дорогами, произведение одного направления (сиречь: творение, образец, шедевр, белиберду), ободренный мыслью о том, что для любого расписывания - разрисовывания потребны всего-навсего две-три простейшие вещи, как то: бумага, чернила и писчая ручка кизилового цвета. Окрыленный сим соображением, он до отказа наполнил вышеназванного цвета ручку синими чернилами (черных достать не удалось) и уже собрался было подсесть к столу, когда вдруг обнаружил, что наряду с данным предметом мебели ему для воплощения задуманного понадобятся еще и стул, и свет, и зрение, а также и правая рука и еще тысячи других деталей тела, начиная с головы и кончая тем самым местом, которым мы садимся на стул. Но



Гурам ДОЧАНАШВИЛИ

**ВАТЕР/ПО/ЛОО,  
ИЛИ  
ВОССТАНО-  
ВИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ**

●  
*Фантастическая  
повесть*  
●

Перевод  
Маргариты ГРЖЕНДЗИЦА

При всем том, что жители тех мест ни бельмеса не смыслили в бое быков, сие происшествие в основном произошло на территории, принадлежащей Испании, и промеж испанцев.

Бесаме Каро поначалу игрывал на свирели, а потом на кое-чем совсем ином.

Родился Бесаме Каро в Андалусии, в семье бедного пастуха, и, еще по-детски косолапя, путался под ногами у овец и телят. Ах, и хороша же была Андалусия, обласканная лучами великого дневного светила! Зелено сверкали поля и леса, узенькой полоской прихотливо вилась безымянная деревенская речушка, упрямо и своевольно отбрасывая солнечные лучи и все-таки набираясь тепла; хороши были и небольшой водопад, раскинувший гриву по скользкой лоснящейся скале, и благодостный запах духовитых взьерошенных снопов. Наевшись поутру крутой буйволиной простокваши, босоногий Бесаме уходил со двора и день-деньской бродяжил на вольной воле, и не чуя, как нет-нет у самых ног его проскользнет желтоватая змейка. Бог ты мой, откуда же было знать в те поры Бесаме, какой опасности он избежал. Да и по зимам, закутанный в овечий тулупчик, он вовсе не примечал уставленных на него из лесу угольками горящих голодных глаз, а его-то норовили слопать. В осенние дни, довольно гундося что-то себе под нос, он перекачивал в сладких от инжира и винограда ладошках опаленный на огне кукурузный початок, нетерпеливо, во все щеки на него дуя, а когда его загоняли под крышу волшебные сумерки, хлебал большой деревянной ложкой из деревянной же миски подкисленное дымящееся варево, млея от жиденького очажного тепла и неприметно клонясь в дрему, в то время как отец его, крепко сшитый, коренастый молчун-пастух, владелец единственной утлой халупы, уже украдкой



посматривал на жену — вторую красавицу на селе, загрубелыми, теплыми материнскими руками готовившую немудреное ложе для Бесаме, — нетерпеливо дожидаясь, когда же наконец мальчонка уснет, тем как тот всюю пялил глаза на потолок. «Пора ему спать», — сурово ронял отец, а мать, женщина: «У меня еще дела недоделаны». «Ишь, хлопает глазами!» — раздраженно басил отец. «Повернись, повернись на другой бочок», — говорила мать. Но Бесаме, лежа лицом к деревянной стенке, только пуще разгуливался, настороженно прислушиваясь к шагам отца, который на цыпочках как заведенный сновал по хижине. А когда на приглушенный вопрос матери: «Ты спишь, Бесаме?» — мальчонка покорно отвечал «да», а через некоторое время снова повторял «да», расвирепевший отец хлопал себя с досады по коленям: «Что это ттакое, женщина, одного ребенка уложить не можешь?! Или мне другую бабу искать?..» В обиде на мужа мать порывисто хватала с лежанки увернутого в овчину Бесаме и начинала всюю трясти его на коленях, тихохонько при этом напевая «Спи-и, усни-и, сынок, ба-аюшки баю-у... Лошадка ушла-а, собака пришла-а...» «Какая собака?» — вскидывался Бесаме Каро. «Не твое это дело, ба-аю, баай». — «Почему не мое-о?» — «Потому!» — так гневно прикрикивала на него мать, что тут впору бы пробудиться и опоенному хмельным зельем. «Ты не мой мальчик, нет, твоя мать цыганка, она подбросила тебя к нашему порогу...» «А-а?!» — вздрагивал Бесаме и, приподняв голову, испуганно уставлялся на мать. «А-а?!» И с какой же любовью глядела на него именно в эти минуты зардевшаяся, возбужденная и виновато притихшая мать... Бесаме жалобно посматривал на нее снизу, а она, охваченная раскаянием, застыв в оцепенении, обводила глазами свое убогое жильё с его застоявшимся воздухом и земляным полом, примечая каждую трещинку в выщербленной деревянной посуде, а потом вдруг неистово прижимала к себе влажный висок Бесаме и в порыве жалости нашептывала ласково сквозь слезы: «Ты нищ, как Иисус»... «Как кто, мама?» — одним глазком взглядывал на нее снизу вверх Бесаме — дру-

гой глаз был прижат у него к материнской груди. «Ты еси бееден, как Иисус...» — напевно выводила мать, а отец, весь облепленный свежим репьем в своих скитаниях по округе, с натруженными, исцарапанными руками, отец с комом в горле виновато отворачивался от своих единственных жены и сына и, не умея плакать, медленно копил в сердце горечь и боль.

Нищие они были, голытьба.

Тут чуток проголодавшийся Афредерик Я-с, вспомнив, что фантастическому произведению требуется хоть немного чудес, решил в данном случае воспользоваться для этой цели таким незамысловатым и безобидным предметом, как сигарета, не откладывая в долгий ящик, вскрыл фабричного производства пачку «Кармен» (кстати сказать, ведь настоящая Кармен работала некоторое время на табачной фабрике, прежде чем окончательно ступить на скользкий путь), вытащил парочку сигарет, положил их на треугольную сковородку, поджарил на сливочном масле и съел, поелику и нижеприведенное повествование имело быть изрядно терпким и горьковатым.

### 3

Ах, и как же все-таки хороша была Андалусия, но величайший, несравненный фантаст провидение, которое мы по прошествии времени попросту называем прошлым, возжелало, чтоб лет эдак через двенадцать, в первой половине девятнадцатого века, Бесаме стал студентом Белой Консерватории города Алькарас провинции Мурсия.

Каков он в наши дни, об этом Афредерик Я-с ничего не ведает, но в ту пору Алькарас был маленьким приветливым городком с пригожими кирпичными домиками под выложенными черепицей покатыми кровлями, так что, если глянуть сверху, с холма Касерес, то весь он мягко отливал терракотой, но для этого надо было одолеть изрядный подъем, а так, снизу, городка было и вовсе не видать. Все здесь было миниатюрным: и бассейн из серого мрамора с тонкоструйным фонтаном и плещущимися в нем крохотными золотыми рыбками, и опрятно вымощенные улочки, по



которым проворные мальчишки катили грациозно подпрыгивающие тачки с севильтянскими апельсинами; и щегольские особнячки, в узких окнах которых нет-нет и смутно очертится и тут же пропадет лик какой-нибудь повитой кружевами донны; и степенные ослики, медленно, с неспешным перестуком катившие небольшие ландо, пока в холодных подвалах малюсенькие мышата грызли что-то свое; невелики были и крепостца, и коротенькая, узенькая улочка Рикардо, в конце которой, на окраине городка, находился небольшой публичный дом с щупленькими тоскующими девицами. Здесь, в этой части городка, из крохотных окон продавали пригоршнями маслины и жареные каштаны.

Не только по праздникам, но и в любой самый обычный день, с наступлением сумерек, алькарасцы, погрузившись в себя и нисколько не обращая внимания друг на друга, самозабвенно вытанцовывали болеро, звуки которого доносились в такие часы со всех сторон, а где-нибудь в темном углу улицы стоял укутанный в долгополый плащ, как младенец в пеленки, — исключение для городка — отверженный всеми и отлученный от своей возлюбленной, и при малейшем шорохе судорожно вздрагивала его рука, сжимающая нож.

Сюда, в этот городок, и привезли осиротевшего Бесаме Каро, а наш Аффредерик Я-с тем временем взял в руки сигареты, нацедил прямо из пачки и себе, и нам (кажется, и настоящая Кармен не прочь была изредка хлебнуть, уж коль скоро ступила своей очаровательной ножкой на скользкий путь) и выпил, не сказав даже, к нашей радости, традиционного «будем». Тьфу ты, ну и невежа...

#### 4

В тот день перемен Бесаме Каро пас, как всегда, чужое стадо.

Ему уже сравнялось пятнадцать, и был он круглым сиротой — первой умерла мать, а следом за ней тихо сошел в могилу и бессловесный отец. У бедняги Бесаме не осталось никого из близких: деда его еще

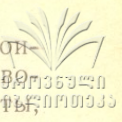
задолго до рождения внука закололи штыком борзав-  
шиеся в Испанию солдаты известной скотины Напо-  
леона, а на прохладную шею совсем молоденькой Напо-  
бушки, когда она, распростершись на свежей могиле  
мужа и воздев руки к небу, во весь голос кляла Бо-  
напарта, накинули, оказывается, бесчувственную пет-  
лю.

Нашему Бесаме, как и его отцу, было всего три года, когда он остался сиротой. И его тоже, как когда-то отца, из милости подкармливали овечьим молоком. В благодарность за это молоко они и полюбили овец. Ах, наш Каро... Рано и не раз пришлось ему изведать жестокость незаслуженных розог и теплоту черствой лепешки, поданной доброй рукой... И всего только два друга было у Бесаме — озеро да свирель. Оба они были ему что живые существа: бухнувшись с головой в мерцающие воды озера, всем существом своим ощущал непривычную нежную ласку сирота из сирот Бесаме. И как же красиво и безболезненно склеивалась вмиг воедино озерная гладь, многократно рассеченная барахтающимся в ней мальцом! А на свирели, о, на свирели наш Бесаме играл так, что будь здоров. Первейшим благодетелем, особенно для промокшего до нитки пастушка, был и огонь, но, вероломный и своевольный, особой дружбы с собой огонь не допускал. Совсем другое дело озеро... Но больше всего на свете Бесаме любил свою свирель. Не было во всем поднебесье коня, которого было бы так трудно обуздать, как подчинить себе этот кроткий инструмент, но, послушная тонким пальцам и чуть теплоту дуновению из груди Бесаме, свирель выполняла для него все, непомерно возвышая тем обездоленного сироту.

Но разве же этого было достаточно?..

Да к тому же как дулось, как угрюмо глядело на Бесаме по зимам замерзшее озеро; каким пронзительным холодом несло из нетопленного камина, когда в хижине полновластной хозяйкой располагалась черная ночь, а Бесаме ежился в своем углу, закутавшись в драную кошму, и из тонких ноздрей его клубами валил пар. В хижине было хоть шаром покати, ни крошечки хлеба, так что даже мыши и те перевелись — потеряли всякую надежду, разобиделись и ушли. Бесаме не мог играть теперь окоченевшими пальцами на





свирили, и она, как ледяная сосулька, праздно покоилась у него за пазухой, дрожмя дрожая заодно со своим хозяином и все же оставаясь ему другом; эх, чересчур сирота Бесаме, и сколько же таких ночей вынес ты, бедняжка, на своих сведенных от холода плечах, и как же туго тебе приходилось, но величайший фантаст провидение, по сравнению с которым Афредерик Я-с — капля в море, да еще безо всякого толку испарившаяся, — этот величайший фантаст пек, оказывается, исподволь для Бесаме его сиротскую лепешку.

В тот день перемен Бесаме Каро пас, как обычно, чужое стадо, стояло лето, и на озере... Но тут Афредерик Я-с встрепенулся при мысли, что совершенно позабыл о жанре, и нашел выход в том, что поцеловал ручку явившейся в качестве спасительницы сигарете «Кармен», ибо ведь невозможно допустить, чтоб настоящая Кармен, отменно владевшая ножом типа бибут<sup>1</sup>, могла не иметь руки. После этого Афредерик Я-с успокоился, и перед ним вновь открылась возможность вернуться к Бесаме Каро, который как раз плескался в озере, когда величайший фантаст провидение возжелало, чтоб у проезжавшей неподалеку кареты сломалось все равно какое, но для порядка уточним — левое переднее колесо.

— Что там, Сото? — спокойно спросил сидевший в карете старец хмурого вида неожиданно красивым, мшисто-мягким голосом.

— Через двадцать минут все будет в порядке, синьор.

Старик повел глазами в сторону леса и после некоторого раздумья сказал:

— Тогда... я немного пройдусь.

— Воля ваша, синьор, — ответил возница, уже державший в руках молоток и маленькую пилу. Он мигом присмотрел короткую ветку и стал орудовать ослабившейся на радостях всеми своими зубьями, истосковавшейся от безделья пилой; а вскоре и дробное

<sup>1</sup> Бибут—разновидность грузинского холодного оружия, нож особой формы.

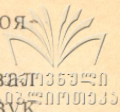
тюканье топорика донеслось до слуха уже вышагивавшего по лесу старика, длинный плащ которого волочился за его спиной по прошлогодним и позапрошлогогодним палым листьям. Хмурый старик медленно шёл по лесу, ощущая под мягкими подошвами сапог с высокими голенищами податливую влажную землю и с наслаждением вдыхая благодатную лесную свежесть. В глазах у него рябило от пробивавшихся там-сям солнечных лучей, вокруг свиристели на своем извечном безобидном языке лесные пичуги. Длинные, как плети, руки старика в эти минуты волнения обхватили его тело, — и как же он любил лес! — в душу ему нахлынуло собственное детство. Ожившие под его переступавшими ногами листья слабо цеплялись за подол накидки; свисавшая невесть откуда прозрачная паутина мягко касалась лица старика, тщетно пытаясь его остановить. Но, непреклонный, как сама судьба, он все шагал и шагал по лесу.

И вдруг остановился: перед ним открылась окруженная деревьями поляна, а посреди поляны блестело озеро, у опушки паслось стадо, а в озере плескался мальчик, наш Бесаме. Детство комом подкатило к сердцу старика и заставило его приостановиться. Бесаме, поплескавшись, поплыл, красиво рассекая воду, затем выскочил на берег и, охваченный ледяным ознобом, стал бегать взад-вперед, чтобы согреться, безотчетно напевая при этом услышанный где-то стишок:

**У меня ходила в стаде  
одна овечка,  
что от ласки превратилась  
в дикого зверя.**

Но вот Бесаме натянул на себя свою нелатаную-нештопаную сиротскую рвань, которую и одеждой-то нельзя было назвать, и по каменному лицу по-разбойничьи притаившегося за деревом старика пошли мягко расходиться какие-то утонченно прекрасные трещинки. Но когда Бесаме с закрытыми глазами нащупал у себя за пазухой свирель и принялся в нее дуть, ох, тут лицо старика вновь обрело свою суровую лепку, ибо старик, как никто другой, знал цену настоящей музыке, — да, такое хмурое, такое строгое лицо





можно увидеть только у истого разбойника и у настоящего многострадального музыканта.

А Бесаме — он только чуть обсох — наигрывает на свирели что-то свое, сиротское, и тонюсенький звук насквозь пронизывал ближний лес, где за одним из деревьев стоял, по-разбойничьи притаившись, великий старый музыкант, который немало повидал на своем веку, но сейчас не верил своим глазам: Бесаме в этот миг походил на какое-то причудливое деревцо с одной-единственной волшебной ветвью, из которой диковинными листочками прорастала сама она — бездонная и бескрайняя, сама она — богатая и щедрая, сама она — беспредельно милостивая, сама она — вольная, плавно вибрирующая в воздухе скрытая мощь, само несказанное счастье, сама верховная владычица нашего высшего повелителя, нашего всеобъемлющего владыки — воздуха, сама великая вдохновительница, сама она — Музыка!

В неистовом страстном порыве, сопредельном жестокости, Великий Старец твердой поступью двинулся к Бесаме. Пастушок прервал игру и в оцепенении широко раскрытыми глазами уставился на старика, который приближался к нему с возбужденным и сосредоточенным лицом.

Перепуганные овцы сбились в кучу подле Бесаме, а сам он, спрятав свирель за спиной, тщетно силился понять свою вину. Старик меж тем все надвигался на него, пробивая дорогу по колено в стаде, упрямо, своевольно взрывая, точно снег, колышущуюся под ногами живую тропу.

- Как тебя звать, пастух?
- Меня... я Бесаме.
- Родители у тебя есть?..

Так как его ответ должен был отозваться в чьем-то сердце болью, невольно обеспокоить кого-то, Бесаме пробормотал, низко понурив голову:

- Нет, синьор.
- Очень хорошо, — сказал старик. — А стадо это твое?
- Нет, все овцы чужие...
- Ты пойдешь со мной?

— Что, синьор?  
— Пойдешь ты со мной?  
Что это за человек?!



— Зачем, синьор?  
— Ты хочешь быть музыкантом, Бесаме?  
— Очень да.  
— Раз так, то пошли.

Бывший пастух смотрел на старика с удивлением

— А стадо?  
— Отгони к хозяину.

Бесаме покосился на стадо. Жаль ему было...

— Забегу домой.  
— Ладно. И прихвати одежду.

— Мне нечего брать с собой, — опять поник головой Бесаме. И вдруг вспомнив что-то, не без гордости, но все еще с понурой головой добавил: — Я нищ, как Иисус.

Старик некоторое время поглядел на него и, подавив едкую горечь, мягко спросил низким, бархатистым, словно мох, голосом:

— А зачем домой?

— Надо бы забить двери и окна, так принято, синьор.

Спокойно глядя на него, старик сказал:

— На дороге стоит экипаж, я там подожду.

## 5

Автор частично вышеприведенного, а в основном нижеследующего повествования чистейшей воды фантаст Афредерик Я-с неприметно вспрыгнул на запятки кареты и, попридержав дыхание, приник к ее спинке. Хотя нет, нет, чего это я тут нагородил, что, мол, неприметно, начни он даже громко охать и ахать или вопить во всю глотку, его бы и тогда никто не услышал — ведь он-то, с вашего позволения, — автор!

Да, значит, так-с.

Коляска катила себе вперед, а Афредерик Я-с, тесно прижавшись к ее задней спинке, пристально, стараясь ничего не упустить, вглядывался в окошечко, занавеска на котором колыхалась и вздрагивала, а то и вовсе взлетала вверх, когда на дороге попадались какой ухабчик или колдобинка. Занавеска, подпрыгивая



и взвиваясь, расширяла поле зрения Афредерика, и вот что видел он тогда: он видел погруженного в свои мысли седого долговолосого музыканта-старика, который сидел к нему лицом, и кругленький затылок маленького пастуха, а из всего его лица — только обращенный к окну влажный кончик носа. А не плакал ли, часом, наш Бесаме Каро? Прицепившись к коляске, что твой бродяга, Афредерик Я-с перевел взгляд со старика, задрапированного в снежно-белый бархат, на нашего Бесаме. И чего только не заметил он на свисающих с него лохмотьях: и смолу, натекающую с высокой ели; и, словно расплывшиеся вокруг раны кроваво-красные пятна от побывавшего за пазухой кизила; и пепел от лежания на кострище; и шерстинки ягненка, которого он прижимал к груди; и крохотные, вспыхивающие золотом соломинки в волосах, а на губах и на руках — приставучий сок зеленой кожуры грецкого ореха. К лохмотьям во множестве пристал цепкий репейник, и все они были сплошь заляпанные грязью, пропыленные, выгоревшие на солнце. Но как-то безгрешно грязен был чересчур сирота Бесаме.

Афредерик Я-с отодвинулся от окна, пристроился на каком-то выступе коляски и, прислонившись к ее спинке, задумался.

Все это вкупе имело следующий вид: впереди три коня — все три с выгнутыми шеями и развевающимися гривами; это они заставили только что грохотать под своими подковами доски моста, перекинутого через реку Хениль; далее — знакомый нам возница — придурковато-молодцеватый пентюх Сото, важно восседающий на облучке с ременным бичом в руке; он и утонувший в мягких подушках экипажа старик сидели спина к спине. Музыкант уныло глядел на остающуюся позади окутанную пылью дорогу, а напротив него, осторожно примостившись в своих отрепьях на краешке мягкого сиденья, пастушонок Бесаме Каро с упованием всматривался в освеженную утренним дождичком прибрежную рощу, показывая спину в свою очередь расположившемуся к нему спиной выше-названному Афредерику Я-с, который в глубокой задумчивости уставился на сигареты «Кармен». Да-да,


при ближайшем рассмотрении все они, раскачиваемые экипажем, выглядели именно так. Причем у Афредерика Я-с странный выбор висел на кончиках пальцев — он раздумывал, а не использовать ли, в конце-то концов, сигарету «Кармен» по ее прямому назначению.

Под мерное позвякивание колокольчиков экипаж плавно катил по Беанской равнине.

Вольготно чувствовали себя предавшиеся мирному созерцанию седоки экипажа. Бесаме Каро впервые видел своими неискушенными глазами такие необъятные дали; изрядно наездившийся туда-сюда, привычный к скитаниям Сото не проявлял ни малейшего интереса к открывающимся ландшафтам и рельефам и даже нет-нет вполглаза подремывал на облучке; что ж до Афредерика Я-с, то он время от времени тянулся нетерпеливой рукой в карман за спичками, но не решался зажечь даже этот крохотный огонек, поскольку настоящая Кармен, случись ей, ночью то иль днем, любила поиграть с огнем, недаром же и ступила она, мало что в туфельках на высоком каблучке, да еще на скользкую дорожку, последовав за всякими отрицательными, как принято их называть, типами, за всякими подонками, вооруженными ружьями и ножами и таскавшими на своем горбу контрабанду, и не только просто последовала, но и сама внесла немалую лепту в их темные и грязные дела. Обо всем этом и размышлял Афредерик Я-с, пока осторожно ведомый Сото экипаж медленно въезжал на холм Эсихе и неспешно скатывался под изволок.

Смеркалось, и Бесаме Каро так неудержимо потянуло к овцам, которых он об эту пору должен был бы загнать в овчарню, что у него защемило сердчишко и он украдкой смахнул в темноте несколько слезинок. Вот в таком-то экипаже, да еще к тому же голодного, его стала одолевать дремота, а потом он и вовсе заснул и не заметил, как они проехали перекинутый над Гвадалквивиром мост о четырех устоях, и вдруг внезапно вздрогнул — старик положил ему на голову свою крупную руку, — огляделся и увидел за окном экипажа одну непроглядную темень, лишь там-сям озаряемую мягкими всполохами. «Вот и Кордова», — объявил Сото, и Бесаме всю вытаращил глаза — он впервые в жизни видел город, да





еще такой большой город, где звучало родное *санта* и люди таинственно кружили в танце с факелами в руках. У Бесаме мутилось в голове. Он был как в дурмане, когда его ввели в какой-то большой, красивый кирпичный дом, да и позже, когда он стоял и стоял, кляю носом, пока Сото обмеривал ему веревочкой руку, ногу, голову, туловище. А потом какая-то согнутая пополам старуха взяла его за руку и повела куда-то по тоннелю, а затем вниз по витой лестнице, то и дело посматривая снизу вверх на покорно переступавшего рядом с ней мальчугана и улыбаясь ему своим черным лицом. Наконец они остановились перед маленькой дверцей, пожалуй, как раз со старуху высотой. Кто-то открыл дверцу изнутри, и оттуда потянуло паром. Теперь и Бесаме согнулся вдвое и двинулся, пошатываясь, куда-то под низкими сводами, ощущая лицом что-то липкое, а когда тоннель закончился, он выпрямился и остолбенел — перед ним была круглая, наполненная паром комната, душная и почти совсем темная, очень слабо освещенная тусклым светом вставленных в фонари свечей. В густом мгlistом тумане запотевшие стены жирно лоснились, и по ним ручейками сбегала вода. Чуть-чуть освоившись в непривычном тяжелом тумане, Бесаме вздрогнул — из клубящегося пара выделилась и стала приближаться к нему смутно различимая фигура: она словно не шла, а плыла — под длинным одеянием совсем не видно было ног, и только по грациозным колебаниям тела чувствовалось, что это женщина. Когда она подошла наконец в этом душном безмолвном мареве к робко потупившемуся бедному мальчугану и остановилась, Бесаме почувствовал, что от него чего-то ждут, и тут же ощутил, как старуха нетерпеливо пнула его в спину. Набравшись смелости, он поднял голову и широко открыл глаза.

Окутанная паром высокая фигура была облачена во что-то долгополое и темное, даже кончиков пальцев и тех не было видно из-под длинных рукавов; лоб туго охватывала белоснежная полоска, чуть выбившаяся из-под обрамлявшего лицо черного платя, и

только одни глаза горели странным блеском — такие круто подтянутые к вискам, такие зеленые-презеленые.

Поддавшись колдовскому взору, Бесаме с задранной головой, читая в странно мерцающих глазах какое-то безмолвное повеление. Но откуда все-таки бралось столько пара... Наконец он немного пришел в себя, почувствовал, что в ногах прибыло силы, и, неодолимо влекомый зеленым очарованием, даже переступил шаг вперед, но запнулся. И все эти глаза! Под их взглядом этот образ из сновидения, эта удивительная женщина представилась ему с головы до ног обнаженной. Только наш глупыш Бесаменичегохоньки не смыслил в женщинах и во всех тому подобных делах. А под грубым одеянием стоявшего перед ним видения вздымались непривычные для взгляда Бесаме выпуклости, виделись высокая шея, тонкие ключицы, упругий стройный стан; обрисовывалось сказочное бедро, чуть очерчивались линии живота. Все это было слишком жестоко. Горячее тело женщины пьянило своей близостью, и Бесаме, теряя голову, с великим трудом пересилив себя, отвернулся — уж лучше было смотреть на старушку. Но старушки поблизости не оказалось, она куда-то исчезла... А туманная женщина медленно выпростала из рукава прекрасную тонкую руку и, опустив ее на плечо Бесаме, повернула его к себе лицом, неспешно раздела, бросив в угол его тряпье, ввела его в глубокий, по самое горло, бассейн, и сама тоже вошла в воду, продолжая глядеть на него все теми же нагими глазами, а наш Бесаме, раздетый догола сирота, весь горел от стыда и обжигающего пара, с трудом снося все это. Странная монашка, которую звали сестрой Терезой, очень сухой, даже в воде сухой ладонью помыла ему везде, но так, что в этом не было и тени чувственности — все преследовало одну только цель — чистоту. Потом она повела его голяком в другую, более светлую, прохладную комнату, увернула в большую простыню, и Бесаме очень быстро обсушился, потому что ему помогали. Потом женщина, прикинув, что к чему, одела его во все чистое и новое, купленное Сото по поручению старика, — причем с ее собственного одеяния стекала в это время теплая вода, — внимательно оглядела со всех сторон, даже, кажется, улыбнувшись



ему с тепло засветившимся взглядом, потом склонилась над ним, держа руки за спиной, и, на миг откнув с лица темный плат, коснулась пухлыми губами его лба. Бесаме, к своему удивлению, обнаружил, что и у чистоты, оказывается, тоже есть свой запах, тоненький и вольный, очень схожий с запахом бумаги, только чуть-чуть более весомый. На этот раз ему указали на дверь со строгим орнаментом, и он вошел в комнату, где за столом сидели старый музыкант и Сото. Они напоили его чем-то горячим и очень вкусным и угостили какими-то незнакомыми кушаньями, а когда он благодарно уснул, прижавшись щекой к столу, его подхватили под мышки и отвели в коляску. Всю ночь они мчались куда-то — проехали Убеду, потом Эстэ, потом еще что-то. Пока Сото умелой рукой сменял взмысленных лошадей, Бесаме, съжившись, спал на мягком сиденье, старик подремывал, а Аффредерик Я-с околачивался где-то поблизости. К рассвету они, спустившись по склону Касерес, там уже, должно быть, памятного, подъехали к Алькарасу. А быть может, вы запомнили также и то, что в этом городке все было миниатюрное, за исключением, надо сказать, одного солидного здания, которое при описании городка Аффредерик Я-с в силу присущих ему странностей сознательно не упомянул, — за исключением белой, лучезарно сверкающей на рассвете многозвучной Консерватории.

6.

Сперва ему показалось, что над головой его остановилось солнце, ибо он ощутил на щеке тепло и в полусне смутно подивился, потому что по утрам он всегда опережал солнце. Но, открыв глаза, он был страшно смущен — на него сверху смотрел Великий Старец. Еще совсем недавно Бесаме был пастухом и довольствовался очень кратким сном, и теперь, когда он выспался в просторной, мягкой постели, его поначалу даже больше, чем старик, поразило то, что было уже позднее утро, а уж после этого — давешний старик, которого он в первый момент не признал. С пе-

---

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или восстановительные работы.

репугу он было привскочил, но, встретив чуть заметную улыбку, все припомнил, и у него отлегло от сердца.

— Твой завтрак тут на столе, — сказал ему старик, — а потом выйдешь на улицу, осмотришь хорошенько и иди к самому высокому зданию.

— Да, — кивнул ему головой Бесаме, и вдруг ему стало стыдно, что он развалился в такой бело-снежной постели, да еще в таком белье, но нет, ох, нет же, ведь он и сам был теперь чистый.

— Лицо и руки помоешь вон там.

— А если меня... если меня не впустят...

— Впустят.

— А что там, синьор, в этом высоком доме?..

— В том высоком доме, Бесаме, ты должен стать музыкантом. Хочется тебе этого?

— Очень да.

Старик, посуровев, посмотрел на него сверху:

— А ты сможешь?

— Я очень постараюсь, синьор.

— Вас там будет много, — помягче сказал старик, — ты должен отличиться.

— Кого будет много?

— Таких, как ты, начинающих, — удивительно ласково прозвучал голос старика. — Пока музыкантов-ягнят.

— А у этих многих, — смущаясь, спросил Бесаме, — есть в том доме главный пастух?

— Да, есть.

— И как же и как его зовут?<sup>1</sup>

Старик едва заметно усмехнулся в сторону:

— Христобальд де Рохас. Запомнишь?

— Да-с. Такое имя и такую фамилию запомнить легко.

— Спроси его, и тебя пропустят.

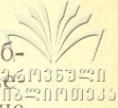
— А еще что мне сказать?

— Там будет видно. Ну, я пошел.

После завтрака Бесаме умылся, потом глянул на тарелку, и, немного подумав, слегка повозил ножом и вилкой по ее глазированной дну.

<sup>1</sup> У испанцев бывает по два, три, пять, а то и более имен.





Позволю себе доложить, что это была куполообразная комната с четырьмя окнами. Одна из ее дверей выходила на балкон, но Бесаме еще никогда не бывал на балконе и выйти туда не решился. Он осторожно приоткрыл дверь все еще темными от сока зеленой кожуры грецкого ореха руками и стал спускаться по витой лестнице на нижний этаж. А там, у лимона в кадке, стояла внучка Белого Старца — Комнатная Рамона.

Девочка тринадцати лет, пятнадцатилетний мальчик.

Оба вспыхнули и до невозможности залились краской. Но с чего бы это? Тут даже полнейший фантаст Афредерик Я-с и тот при всем своем старании ничего не понял. Бесаме неловко кивнул головой, девочка чуть-чуть присела, подогнув коленки. Бесаме без всякой видимой причины сунул руку в карман, а девочка склонила головку и медленно выставила из-под платья кончик премилой туфельки. Бесаме вспомнил о своих пальцах, на которых все еще темнели следы сока зеленой кожуры грецкого ореха, и поспешил сунуть в карман и вторую руку, но к этому времени он уже был во дворе.

Он в смущении нерешительно приоткрыл ворота какого-то там цвета.

Наш маленький, наш крохотный Алькарас — престольный город Афредерика Я-с.

Маленькой была миниатюрная крепостца... коротенькой и узкой — улица Рикардо... Но Бесаме наш — наш Каро, ничего не замечая, как замороженный, шагал к белому зданию, а оно, оно, белейшее из белых, грузно белело на своем месте, а потом стало как будто чуть-чуть полегче — это именно оттуда долетел до Бесаме какой-то пронзительный звук — то был звук кларнета; а потом совсем другой звук — скрипки, — вызывающий теплую дрожь, и здание стало еще более легким, а звуки, пока Бесаме шел, мелко перебирая ногами, наливались силой, ширились, нарастали. К ним примешался какой-то бархатистый музыкальный инструмент, как бы беседующий сам с собой, потом еще один: звуки то возносились вверх, то

низвергались, и здание становилось все легче, все воздушнее. Куда-то взметнулся высокий звук, за ним последовали совсем другие, и, вылетев с шумом из белого улья, этот свободный хор инструментов, это вольное сонмище звуков, восставших против всякой гармонии, — этот репетирующий оркестр, нескладный, нервно взвинченный, резанный-перерезанный, хаотически, путано голосил в огромном здании, а сам дом будто пошатывался на своем основании и рвался подняться в небеса. В этом всеобъемлющем белом улье, хоть и путано, хаотически, буйствовала, пылала огнем Музыка, сама Музыка.

Высоко запрокинув голову, стоял сирота Бесаме, прислушиваясь к удивительному состязанию дивных инструментов; нет, он не слушал, он с трепетом впитывал в себя эту музыку, судорожно сжимая засунутой за пазуху рукой свою свирель, свой маленький, незатейливый инструмент. Но вот все стихло, здание впало в полную немоту, и из резной двери стали неторопливо выходить только что сражавшиеся меж собой музыканты, выходить так спокойно, словно бы ничего не произошло. Ах, да они, наверное, волшебники, или, может быть, так искусно притворяются. И шапки у всех у них разные — у кого с перьями, у кого — высокие, круглые и сверкающие, у других островерхие колпаки, а то еще вроде бы тарелки. Какой-то человек выглянул из верхнего окна и спросил: «Ты Бесаме?», услышал в ответ «да» и загреб к себе рукой воздух: «Сюда, сюда, маэстро Христовальд де Рохас ждет вас».

Бесаме переступил через порог.

Ничего перед собой не видя, не глядя по сторонам, он двинулся вперед и уже собирался ступить безгрешной ногой на мраморную лестницу, когда сверху донеслось строгое и грозное:

— Подожди там!

В испуге он мгновенно остановился и стал ждать.

— Повернись.

Как оказалось, он находился в каком-то совершенно поразительном зале: на стульях с высокими спинками были разложены — ох ты, господи боже мой! — всякие, самые разнообразные инструменты,



совершенно ему не знакомые... Ошеломленный, стоял и стоял, пока сверху снова не донеслось:

— Обойди все и к каждому прикоснись рукой!

Что же это такое, в конце-то концов, не выдержал Афредерик Я-с, фантастика это, наконец-таки, или же просто пшик! Что это, в самом деле: все идет как положено, своим чередом. Нет, послушайте-ка теперь его самого, и он скажет свое: — Эх, сигарета! О, Карменсита, василек контрабандистского поля, как по-разному все тебя любили, и что же все-таки такого особенного нашли они в тебе? Непутевая ты, прости за выражение, была бабешка, покрывшая позором своих родителей и детей своих родителей — своих братьев и сестер, хотя не знаю, были ли таковые у тебя. Там, на фабрике, ты было ступила на правильный путь, однако вместо того, чтоб прославить себя высокими показателями в труде, ты возьми да соверши уголовное преступление с применением холодного оружия. Почему, почему ты свернула с трудовой дороги куда-то в колючие заросли, чего, спрашивается, ты там искала? Не говоря уж обо всем прочем, твоя длинная кружевная накидка поминутно цеплялась, вот именно что цеплялась, да еще как цеплялась за колючки; но разве же могло что остановить тебя, ступившую на путь порока, что, спрашиваю я, могло тебя остановить? Тогда как у приличной, благовоспитанной особы из-под длинного платья и кончика туфель не увидишь, ты с открытыми голяшками таскалась по берегу реки, и с тобой даже здороваться никто не хотел, да что там — водить с тобой знакомство почиталось за срам и позор; коли не веришь, спросим хоть у того же Афредерика Я-с, любящего резать в глаза правду-матку, ведь он, слава богу, под боком. И вот что он говорит: будь у меня избраница сердца, я бы не дал ей словечком с тобой перекинуться, а поступи она мне наперекор, я б ей строго указал, а еще продолжай она гнуть свое, пробрал бы как следует, а если бы и это не помогло, выпорол бы розгами, ну а уж когда бы она и после этого осмелилась заговорить с тобой, запер бы ее под тройным замком, а сам со всех ног кинулся напрямик к тебе, потому что люблю я тебя.

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или восстановительные работы.

Уф ты черт, ну и чушь же он здесь наплел. Хотя, впрочем, что же все-таки было в тебе такого, о Карменсита, виноват, Кармен, чем же это ты братица, что все наперебой в тебя влюблялись, нет, не пойму, не могу понять, разве что вот только эти твои манящие взгляды, которые ты так и метала своими черными огненными глазами, способными зажечь пламенем сигарету, а с сигаретой-то сейчас и выступает наш Аффредерик Я-с, так что надо бы ему поостеречься, не то еще того гляди потащится он за тобой, такой роковой, такой опасной, которой все равно, что у нее в свое время под головой — пуховая подушка или случайная травка. Не кобылицей же ты была, в самом-то деле, Кармен, что так безудержно носилась вскачь по скользким дорогам! Нет, не понять мне, кто и за что тебя любил, хотя, правда, было в тебе нечто бесценное; сдается мне, где-то-как-то-все ж таки-пожалуй-самую чуточку ты была свободна, не так ли? Не этим ли ты нас и околдовывала? Как знать? А если это так, то ты была высшего порядка инструментом, правда, всего лишь с двумя, но столь алчно взыскуемыми струнами, которые были натянуты на твоём голом теле. Эти две совершеннейшие струны — Свобода и Любовь. А так как в каждом инструменте — я имею в виду инструмент самого высшего порядка, самый утонченный — эти два понятия — свобода и любовь — постигаются через тяжкую муку, потому что кроются они в тайном тайных, то вот и ходил наш Бесаме, наш маленький Каро, промеж инструментов и до каждого из них дотрагивался рукой, все еще выпачканной соком зеленой кожуры грецкого ореха, и они издавали в ответ дурманящие звуки, что и составляет главное музыкально-инструментальное назначение дерева, металла и конского волоса. И почуяло что-то сиротское сердце, что-то бессовестно могучее. А пока он осматривался с затуманенной, вскружившейся головой, сверху ласково прозвучало:

— А теперь поднимись сюда.

Мраморные ступени ходуном ходили у него под ногами, пока он в тревожной тишине поднимался наверх. Поднялся и обмер!

На возвышении, перед ниспадавшим до самого пола синим бархатным занавесом, тонул в глубоком



кресле, уронив на подлокотники натруженные руки сам Великий Маэстро Христовальд де Рохас.

Он еще раз переспросил:

— Значит, ты хочешь быть музыкантом, Бесаме?

И ему снова ответили:

— Очень да.

— Вот и хорошо, — сказал старик. — Подойди поближе.

Глаза у него были вроде бы цвета стоячей воды, утомленно-серые, но с зеленоватыми корнями.

— Опустись на оба колена, — сказал старик. И воля его была исполнена.

Своими то ли сосновыми, то ли еловыми ладонями старик сжал худенькие щеки Бесаме, и тот ощутил у себя на висках железные пальцы, а души его коснулся смычок из конского волоса.

Лицо старика было настолько близко, что Бесаме не мог сосредоточить взгляда, ему лишь смутно виделась какая-то распахнутая необъятная ширь. Теперь, в такой непосредственной близости, оказалось, что в глазах старика переливаются тысячи многоцветных крапинок — куда там радуге! — и ошеломленный Бесаме с превеликим усилием постиг, что все эти сверхстранным образом сочетавшиеся краски были ответами только что виденного им оркестра.

— А теперь пойд и стань лицом в угол.

Но почему это его, как наказанного, поставили лицом в угол и заставили слушать:

— Бесаме, если ты хочешь быть музыкантом, тебе придется покорно просунуть голову в тяжелое ярмо и взвалить на свои щуплые плечи огромное бремя. Ты выдержишь?

— Не знаю, да.

— Знай, что тебе придется отказаться от многих удовольствий, ибо человеку дается в жизни только одна какая-нибудь радость, а музыканту ничто не дозволено за счет музыки. Единственно и только в одном своем музыкальном инструменте должен ты находить утеху и отраду.

— У меня никогда не было никаких удовольствий, синьор, — выпалил сгоряча Бесаме, — ни больших,

ни маленьких, — и, сам испугавшись своей дерзости, выжидательно притих.

Старик молчал.

— Я вечно был голоден, — вновь отважился Бесаме Каро, — я мучительно мерз, синьор, в зимнюю стужу. И должен тут же признаться, что мне очень по душе моя новая одежда, так верните же мне, прошу вас, мое старье.

— Подойди, Бесаме, — ласково сказал совсем растроганный старец, и когда Бесаме приблизился, возложил на плечо ему руку. — Ты не знал до сих пор удовольствий, но потом, когда ты чего-то достигнешь, тебе придется всю жизнь сурово пренебрегать всеми удовольствиями и радостями. Что же до твоей новой одежды, то пусть она останется у тебя, потому, во-первых, что к одежде привыкаешь, а во-вторых, потому, что ты ничем не должен внешне отличаться от других — ни богатством, ни бедностью. Ты должен всегда стараться не привлекать к себе внимания. Потом ты поймешь почему.

С этими словами старик протянул Бесаме какой-то тонкий черно-продолговатый ящичек.

— Что это, синьор? — вздрогнул Бесаме.

— Здесь лежит флейта, первейшая свирель из всех свирелей, и это единственный инструмент, который начинает звучать от поцелуя.

— Что же это такое...

— Скоро узнаешь. Ты будешь жить у меня в семье, Бесаме, и тебе больше не придется заботиться о еде и питье. Отсель твоей единственной заботой будет музыка, сынок. А каждый понедельник ты будешь получать двенадцать песо.

— Спасибо; не хочу.

— Как так не хочешь! Это тебе на жареные каштаны и свечи. На, бери.

Стыд не позволил Бесаме взять деньги, он даже прикрыл глаза от смущения, и старик сам опустил их ему в карман.

— Но ведь я не пас ни одной вашей овцы...

— Вот эта флейта и будет моей овцой, — сказал старик. — А музыка — это тот воздух, которым ты должен ее кормить...

— А где же кормить ее...



— Там, у себя в комнате.

— А если я буду играть плохо, вам от этого бес-  
покойство...

— Воздух флейте так или иначе нужен. Опустись  
на одно колено.

Старик обмотал лоб и затылок Бесаме прохлад-  
ным куском черного бархата, завязал его у виска и  
поправил спадавшие с одного бока на плечи концы  
небольшого банта.

— У нас, Бесаме, владеющие разными инстру-  
ментами музыканты носят различные головные убо-  
ры; вам, играющим на флейте, положен вот такой го-  
ловной убор. Тебе нравится?

Бесаме вдруг благоговейно прильнул сомкнутыми  
губами к его великолепно изваянной могучей, много-  
страдальной руке, коснувшись ее таким нежным лоб-  
занием, каким касаются флейты, начиная играть, и  
Великий Маэстро Христовальд де Рохас, ощутив всей  
поверхностью кисти его очень горячие, очень сирот-  
ские слезы, с подкатившей к сердцу терпкой неж-  
ностью возложил на голову своего ученика вторую  
руку, ту руку, ту великую руку, которая заставила  
нашего Бесаме, нашего маленького Каро, снова и сно-  
ва ощущать себя раздавленным музыкой и тогда,  
когда он уже одиноко шагал с припухшими глазами  
по улице, бережно зажав под мышкой свою флейту —  
свою надежду, и когда на шум его теперь уже чуть  
более смелых шагов в узеньком окне мелькнул таин-  
ственный силуэт какой-то донны, мелькнул и тут же  
исчез, потому что совсем другого кабальеро, невежду  
в музыке с златосреброкованой шпагой на боку, жда-  
ла, покусывая от нетерпения губы, целованная-пе-  
рецелованная женщина, а Бесаме не заметил не  
только ее, но и внучку Великого Старца подле знако-  
мого дома, Привратную Рамону, которая, миновав  
двор и увидев Бесаме, замерла у ограды — в ее го-  
товое раскрыться сердце маленькой женщины вошло  
что-то неодолимо могучее, а этот Бесаме, наш Бесаме,  
шагал и шагал себе, возвращаясь в праведно-строгий  
дом, внутри которого равно устоялись мягкие ароматы  
и дух благостности, а над всеми цветами главенство-

---

Г. Дочанашвили. Ватер/по/лоо, или восстановительные работы

вал синий цвет; и наш пастушок снял с ног обувь, придержал ее под мышкой с другой, бесфлейтой, стороны и, изо всех сил прижав локти к худеньким бокам, с превеликим трудом достал из кармана пару мелких монеток, и ему подали свечу... Припав на колени с едва теплившейся крошечным фитильком свечкой в и без того прозрачных пальцах и с еще не виденной флейтой под мышкой одной руки и с обувью — под мышкой другой, Бесаме, весь отдавшись лицемерию, вперился изумленным взором в чуть проглядывавшие сквозь разреженные сумерки причудливые краски — там, на стене, был изображен претерпевший муки мученические, и к тому же распятый на кресте, и к тому же нищий Иисус, а немного поодаль проступал лик его прекрасной в своей высокой скорби матери, обращаясь к которой коленопреклоненный Бесаме шептал, сжимая в руке чадающую свечечку:

— Самая великая госпожа Мария, самая милостивая синьора, спасибо вам, очень большое спасибо за то, что вы привели меня сюда, в этот город.

Как мы уже неоднократно твердили, по сравнению с самой судьбой Афредерик Я-с был не более как капля в море.

## 7

Не вообразите себе, что на этом сия история полностью завершилась, — ох, сдается мне, мы не дошли и до половины, а похоже, будто все и закончилось, не правда ли?

Чего же нам еще, казалось бы, желать! Мальчик-сиротка в отличие от Карменситы стал на правильный путь, достиг даже всеобщего признания, ибо в любом уголке земли даже самый распоследний подонок и проходимец и тот любит музыку — правда, только чужую, своей у него нет, — так что нам проще простого было бы закончить свое повествование, поведав вкратце, что: «Бесаме Каро отличился благодаря своему прилежанию в занятиях, стал известным музыкантом, обвенчался с подросшей Рамоной, старик перед смертью передал ему большую Белую Консерваторию и маленькую дирижерскую палочку из слоно-



вой кости, на музыкальных выступлениях Бесаме зал рушился от аплодисментов, в семье росли чудесные детки — двое мальчиков и девчурка, а в небе чирикали птахи». Но нет, не случилось всего этого, разлюбленные вы мои, а наплети вам Афредерик Я-с неправду, он после этого в зеркало не мог бы на себя взглянуть со стыда. А на что бы он тогда был годен? Ведь прежде чем копаться в чужой душе, каждый из нас должен во всякий миг до конца познать самого себя. Да-а, так-то вот. А наш Бесаме претерпел, как говорится, немало злоключений в крохотном городке Алькарасе.

В просторных светлых покоях Великого Старца, сидя за длинным столом на почтительном расстоянии друг от друга, мирно завтракали сам Великий Старец, едва осмеливающийся дышать Бесаме и Утренняя Рамона; затем Бесаме повязывал наискось через висок черный бархатный плат и, затаив робость, шел к величественному белому зданию, где его строго принимал добрый знаток своего дела знаменитый флейтист маэстро Карлос Сеговия с косым шрамом через все лицо. Бесаме благоговейно подносил к устам свой музыкальный инструмент с пока еще глубоко спящим внутри него волшебником и легким поцелуем передавал ему свое дыхание, со всем усердием следуя советам и наставлениям Карлоса Сеговии и всеми силами тщаась расшевелить спящего волшебника, но нет, ох, господи, нет, ему никак не удавалось хотя бы разок его пошелохнуть — флейта издавала сиплые, шероховатые, испещренные занозами звуки, так что потаенно чувствительное нутро маэстро Карлоса будто сплошь остекленевало и по этому стеклу беспардонно, с визгливым скрежетом корябали острым ножом, и хотя вся кожа у маэстро вставала дыбом, он угрюмо сносил все и учил. Чему? А музыке.

По вечерам Бесаме в задумчивости жевал свой ужин, а Рамона Сумерек пощипывала красивенькое печенье. А на пятый день, когда Христобальд де Рохас торопливо вышел из столовой навстречу какому-то гостю, девочка, поковыривая вилкой хлеб, отважилась:

— Тебя... как зовут?

— Бесаме... а вас?

— А меня Рамона.



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Вострепетание, о-ох!.. Почти все маэстро в консерватории были хорошие: по теории — деловито-решительный бородач; по сольфеджио — ясноглазый, будто весь просвеченный насквозь нежными, стройными звуками старикан, упиравшийся в клавишин строгими, как сам закон, пальцами; овейный глубокой таинственностью, отрешенно-туманноглазый, возвышенно надломленный и какой-то непостижимо праведный преподаватель гармонии; златоустый мэтр по музыкальной литературе, благодаря которому Бесаме вкратце узнал об исполненной тягот жизни великих и великих музыкантов... Учитель поет хором с пятьюдесятью шестью ушами — в хоре двадцать восемь учеников... Единственный, с кем никак не мог свыкнуться Бесаме, был гисторист Картузо Бабилона, тайный обожатель разорителя родной Испании — Наполеона Бонапарта. На оборотной стороне висевшего в его спальне большого портрета общепризнанного прародителя герцога Альбы хоронилась воодушевляющая душу Картузо картина с изображением грузно осевшего на коне Наполеона, лицезрением коей сей гисторист ежевечерне наслаждался, отвернув несравненно-взиравшего герцога Альбу носом к стене, хотя Бонапарт, прямо скажем, весьма мало походил на джигита. А чуть свет поутру потайной Картузо прежде всяких дел поспешно переворачивал картину снова на ту сторону, с которой недовольно взирал на мир герцог с прилипшей к губам желтой известковой крошкой.

Таково бывало тревожное пробуждение Бабилона, тогда как Бесаме Каро радостно открывал по утрам глаза в благодатных покоях Великого Маэстро, потому что на диване ожидал его нежного прикосновения тот самый сухой, вытянутый в длину инструмент — его флейта, в которой уже однажды как будто чуть-чуть шевельнулся, пробудившись от своего совершенно беспробудного сна, волшебник, и хотя Бесаме было пожаловано милостивое разрешение играть в своей комнате в любое время, он, чуть забрезжит рассвет, осторожно брал в руки флейту и направлялся сквозь воздух, которым так приятно ды-



шалось, поначалу к окраине Алькараса, где, ободренные утренней зорькой, бойко свистели переметнувшиеся сюда, в этот город, но все равно деревянные пичуги, а потом довольно крутой и извилистой тропой взбирался в гору, с которой каскадами срывалась речушка, и подходил к по-утреннему трепетно-свежей роще. Здесь все привлекало, все манило его — выросшего среди лугов и лесов — остаться, но Бесаме спешил к облюбованному им причудливому укромному местечку, туда, за рощу, на тоскливый холмик Касерес, откуда как на ладони виделся пригревший его и без того небольшой, а отсюда, сверху, и совсем махонький городишко Алькарас. На вершине утеса имела неглубокая впадинка, в ней примаскивался наш Бесаме, свесив над пропастью обе ноги. И эта высота, это ощущение опасности делали его прикосновение к флейте каким-то особенно осторожным и трепетным, как нежнейший поцелуй, и ничего не упускавший милостивый волшебник, очень хорошо знавший цену нежности и верности тех, кто отдал себя служению ему, теперь, на утесе Касерес, уже явно пошевеливался. А Бесаме, прильнув губами к флейте, силился выразить всю свою благодарность городу, где высилась большая Белая Консерватория, даже отсюда, сверху, беловеличественная, прынувшая вверх до первой звезды... Осторожно передавая свое трепетное дыхание флейте, Бесаме будил ото сна маленький городок, и Афредерик Я-с терялся в догадках, почему это с рассветом везде и повсюду разливается какая-то несказанная радость, почему приглушенно слышится шум реки, как не мог он взять в толк и того, кто же худший враг для испанцев — пришлый иноплеменец Бонапарт или же родной им телом, душой и всеми своими потрохами Альба, — уж в слишком большое замешательство приводила его тайная любовь и приверженность гисторика к тому отошедшему в небытие человеку, который дотла разорил его родину, оставив незаживающие раны даже на теле такого крохотного и безобидного городка, как Алькарас. Но вместе с тем Афредерик Я-с был великолепно осведомлен и о том, что вечно облаченному в серое гисторику Белой Консерватории в си-

лу того прощалась его пылкая приверженность, что Картузо Бабилония и главноначальствующий провинции Мурсия герцог Лопес де Моралес состояли в тринадцатых отношениях, поскольку супруга Картузо, общеизвестная Мергрет Боскана являлась, с вашего позволения, полунеофициальной возлюбленной сановно-медалеорденоносного Лопеса де Моралеса. В качестве призыва Мергрет к Лопесу де Моралесу это трио напроць лишенных музыкального слуха избранных применяло совершенно необычный способ — когда время от времени Лопес де Моралес изволил пребывать в Алькарасе, его пестрого ловчего сокола отпускали на волю, и он устремлялся привычным путем к плоской кровле дома гисторика, яростно набрасывался на привязанную там куропатку и выклевывал ей темя. Слуга мигом оповещал об этом своего господина, и Картузо самолично, собственными руками производил омовение тела своей шумно известной супруге в умеренно молочной ванне, сопровождая сию процедуру наставлениями: «Скажи ему, что с Христобальда де Рохаса давно уже сыплется песок, а в антракте присо-вокупь еще, что совсем не обязательно главному маэстро консерватории быть музыкантом».

Вот этот-то самый Картузо Бабилония прицепился к нашему Бесаме Каро не хуже Аффредерика, но только на совсем другой манер — как самый ярый ненавистник, и все из-за того, что Бесаме ни на йоту не почитал приснопамятного Наполеона, да что там почитал, не почитал — его бросало в дрожь при одном упоминании имени Бонапарта.

А началось все так.

— Кто из вас что слышал о Наполеоне, молодые люди? Это верно, что он допустил большую ошибку, напав без предупреждения на нашу возлюбленную, нашу сладостную Испанию, однако он и в самых плохих своих делах оставался истинным гением, да и притом кто же из нас не допускал ошибок? Ну-с, кто может что-нибудь сказать? — И он в упор наставил свой палец банщика на Бесаме.

— В дни молодости моего деда, — поднялся Бесаме Каро, — какому-то пьяному часовому завоевателей случилось, как говорят, ненароком поджечь доверенный ему склад, а он свалил все на наших сельчан.





— Но при чем же тут Бонапарт?

— Наполеон, едучи мимо, выслушал объяснения часового и отдал приказ выстроить в ряд всех мужчин села и каждого третьего взять на штык.

— Ну, а тебе-то что?

— Мой дед стоял двадцать четвертым, герр<sup>1</sup> Картузо.

— Но ведь ты сказал — каждого третьего?

— Каждый третий падает и на двадцать четвертого, сэр.

— Нет! — категорически отрезал историк. — Двадцать четыре делится на восемь.

— И на три, сенсей.

— Восемь нельзя разделить на три.

— Но три можно помножить на восемь, Картузо Федотыч.

Поразмыслив над чем-то, историк спросил:

— Где же ты выучил эту математику?

— Я пас чужих овец, милорд.

— Ну, так оно или эдак, — пришел в раздражение Картузо Бабилония, — у нас здесь не экзамен по математике; я выставляю вам неудовлетворительно по истории.

— Почему, сударь?

— Это не твое дело. А ну, следующий...

Эх, Карменсита! Сколько бы раз тебя вышибали из школы, когда б ты была отдана учиться... Взяли бы тебя за ручки папа и мама и повели бы постигать тонкости знания; и дали бы тебе твои родители с собою завтрак в красиво сплетенной корзиночке: хлеб, сыр, апельсин и персик. Только были ли у тебя родители? Заложила бы ты свои шаловливые ручонки в карманы фартушка, вышитые пестрыми бабочками, и на переменке застучала бы по плитняку тувельками, хотя не знаю, имелись ли они у тебя? Ох уж этот распротофантаст Аффредерик Я-с — вместо плитняка заставил стучать обувь, но это еще что, мы можем вме-

<sup>1</sup> Поскольку ученики не могли называть историка «маэстро», Картузо настойчиво требовал, чтобы они обращались к нему, как к титулованным особам в различных странах.

сто смычка провести по струнам сигаретой, хотя <sup>кто</sup> его ведает, что из этого выйдет. Надо бы вам <sup>было</sup> все-таки поучиться, Кармен. Ведь это было <sup>бы</sup> просто замечательно! Стали бы вы образованной, всеми уважаемой особой, и у вас, склоняющей свои огромные глаза над письменным столом, ходили бы в поклонниках одни только ученые, и объяснялись бы они вам в любви блестяще построенными, на славу правильными предложениями, в которых грамматика властвовала бы над любовью, хотя, впрочем, что может быть на свете лучше грамматики, кроме физикохимии математики, только не знаю, были ли и они? Я, кажись, несколько отклонился от своей линии, хотя нет, нет, ведь фантасту-перефантасту все позволительно, кроме, разумеется, нецензурных выражений, которых ты-то, Кармен, вдоволь наслушалась, да притом скроенных вопреки всякой грамматике. А коли бы ты стала, Кармен, ученой дамой, то была бы гордостью всех цыган. Хотя бес его знает, была ли бы? И все ж таки как бы здорово это было, если бы ты прославилась себя многоученостью, а ты возьми да прославь себя совсем другим! Или же ты могла бы стать, ну, скажем, образцовой хозяйкой, и тогда никто бы не ущипнул тебя исподтишка в уличной потасовке, стала бы ты славной хозяйкой, никто не помешал бы тебе сварить отличный бульон, и пускала бы ты слезу из своих прекрасных глаз, разве что только нарезая лук, а потом бы ты добавила в кипящий бульон тщательно перемытую зелень — кориандр и базилик, — а под самый конец — агзеванской соли по вкусу, ну а уж там разложила бы на столе по обе стороны от тарелок серебряные ножи-вилки; но ты, рецидивистка, носила в потайном кармане платья совсем особого рода нож!

И все-таки я тебя люблю.

Почему? Да почему я знаю.

А под деревом стояла девочка, вздрогнул Бесаме.

8

Под высокой сосной стояла девочка, Рамона Роши, в голубом с кружевами платье, вздрогнул Бесаме.

— А-а... это вы?

— Да.



Тринадцатилетняя девочка, пятнадцатилетний мальчик.

— До свидания, — ляпнул невпопад Бесаме.

— Да.

— Как поживаете...

— Вы любите музыку?

— Да! — несколько громковато вырвалось у Бесаме, и он застыдился еще больше.

Рамона стояла с зажмуренными глазами — прямо в лицо ей ослепительно били лучи заходящего солнца — ух ты! — откуда...

— Вы всегда здесь играете?

— Что делаю? — встрепенулся Бесаме.

— Вы, оказывается, здесь играете, — сказала девочка, и наш мальчик окончательно смешался.

Волшебник тихо заулыбался сквозь дрему.

— Как себя чувствует Великий Маэстро?

— Это как раз дед и послал меня сюда вас искать.

— Кто?.. Да-а? Ко мне? Но зачем... — растерялся Бесаме.

— Сегодня концерт. К нам приехали сарагосские музыканты. Вы пойдете?

Они осторожно спустились по склону, и только тогда Бесаме спросил:

— А вы не знаете, синьорита, что будут исполнять?

— Только Бетховена...

Только Бетховена!

Тишайшей ночью после концерта весь раздавленный и растоптанный валялся на своей постели Бесаме. Что, что это было — сорвавшаяся с гор лавина? Мятая пещера? А быть может, землетрясение?.. Выросшая из океана огромная синяя гора, вздыбленная присущими океану чувствами?.. Что же это все-таки было — величайшая рука извлекала из недр дымящегося вулкана волшебные соты. Что это было — да музыка Бетховена.

А герр Картузо: «Наипочтительнейше подчеркнутыми временем точками стали для самого худшего са-

мого лучшего из людей Аустерлиц и Ватерлоо — Мюблан и колодец...»

Помои на твою голову, Картузо, ух ты, ваше обращение можете закончить по личному усмотрению — Аффредерик Я-с дает вам на это свое разрешение, да только кто его спрашивает. А ведь сэр Бабилония был в некие времена фигурой, человеком, которого даже весьма ценили, потому что премногославный Лопес де Моралес и непосредственная супружница Картузо время от времени, ну, так разок-другой в месяц, занимались промеж себя кое-чем, да, собственно, не кое-чем, а неким совершенно определенным делом, о чем было известно всем, кроме нашего непорочно-го простачка Бесаме, он, Бесаме, о многом еще в жизни ничего не знал, так, к примеру, когда однажды кларнетист в островерхой шапке с очень ранними усиками принес в консерваторию свежую новость: «Поговаривают-де, что наш Камучо, ну, этот портной, привел в дом жену, свеженькую, как весенняя травиночка, а она-то — хи-хи! — оказалась недевушкой, ха-ха-ха», то наш Бесаме спросил его: «Что, старушкой оказалась?» А теперь, теперь, после концерта, когда он, попраный и изничтоженный, взирал на эту махохонькую страну с мягко всхолмленных вершин — с вершин музыки, — люди внизу виделись ему суесящимися мурашами, но ниже всех прибитым к земле и приниженным виделся себе он сам, и сердце его обливало кровью... И все же что это было... что было?.. Это был осадок выдоха гордой и чистой души Бетховена, мальчуган! Эта боль — Бетховен, Бетховен, мой маленький музыкант, это он пригвоздил тебя к постели, маленький охотник за звуками, откуда же тебе было знать, что тебя ждет. Что, раздавил он тебя в лепешку? Помял тебя, Каро? Сжег тебя, да, мальчик? Совсем, дотла испепелил? Трепали вату, и каждый удар прохладной палки теребил разгоряченный мозг, разгневанное солнце остановилось в затуманенных глазах; беспощадно поверженный, он распластался навзничь с мерцающими на лбу бисеринками пота, в ушах стоял пронзительный визг, руки-ноги с бессовестной настойчивостью терзала ломота, все тело безжалостно грызла боль, и наш мальчик, наш сирота из сирот Бесаме бессильно постанывал, валяясь в чужой постели и в чу-



шой квартире, в совершенно чужом городе, с душой, охваченной всежигающим пламенем, которое перекинулось и на его тщедушную плоть. Весь пышущий жаром, истомленный и обессиленный, с ноющими ладонями, он моляще стенал: «Что вам от меня нужно, в чем я провинился... Я нищ, как Иисус», а у изголовья его сидел Великий Старец Христобальд де Рохас, и там же у стены маялась бледная, без кровиночки, Рамона Страха.

Алькарасские лекари ничего не смогли понять, и тогда Сото был мигом отправлен за известным теруэльским врачом, но и тот только недоуменно повел затекшими с дороги плечами... Два очень длинных дня провалялся где-то в пекле охваченный сильнейшим жаром Бесаме Каро, чуть слышно, жалобно охая; он бродил без пути-дороги по каким-то освещенным до блеска пустынным мракам, на него наваливалась угрюмая скала, и не доходили до его сознания казенные призывы лекарей: «Мальчик, мальчик... ну, открой же глаза». На растрескавшиеся губы накладывали лед, и талая вода медленно, подобно сытой ящерице, сползала к ключице. Чем сильнее разгоралось пламя, тем дальше уходил бедняжка Бесаме, которому так мучительно далось крещение Бетховеном, а на третий день Великий Старец попросил всех оставить комнату, даже Рамону Сочувствия, и опустил на лоб Бесаме свою тяжелую, многоизведавшую руку, из-под которой в частые минуты воспарения выходили Бах, Моцарт, Бетховен, Гендель, и от капнувшей в душу с этой великой длани музыки вздрогнул, очнулся Бесаме Каро.

Стояло тихое предвечерье. Истомленный битвой с тяжелым забытием, кровотока ранами, нанесенными бредовыми видениями, бессильно распростершийся на постели Бесаме вяло смотрел на безучастный потолок.

— Это... как называлось?.. — спросил он только.

— Третья симфония.

Отведя взгляд, Бесаме промолвил:

— Хочу в деревню... Верните меня туда, прошу вас.

Старик поглядел на него с хмурой озабоченностью, потом тяжело поднялся:

— До утра подождешь?

— Да, конечно...

В окно глядела магово-бледная полная Луна. И если все усугублялось таинственной чернотой ночи, то одна Луна, она одна-единственная, став на свой все-нощный пост и постепенно насыщаясь тьмою, все более наливалась свечением, и наш Бесаме, приподнявшись на локти и подперев руками осененное далекой печалью лицо, благоговейно ожидал чего-то, а на нижнем этаже старик, подсев к открытому роялю с поднятой над ним подобно парусу крышкой, тоже поглядел на ту же Луну, и соната, Лунная соната, распадаясь на три и на три, огласила, полонила весь дом, пропитала стены; утонченно-бессильные, суховато-мягкие пальцы Луны ощупывали все на чердаке Ночи, и покрытые пылью, неприкаянно блуждающие души заброшенных вещей вились вокруг Бесаме, и что-то сокровенное и очень важное нисходило с блаженной болью на только-только оправляющегося от болезни мальчугана, и когда музыка вдруг внезапно оборвалась и в воздухе замерли трепетно-мерцающие звуки, Бесаме, — который уже, оказывается, поднялся с постели и в неистребимой жажде чего-то свесился с небольшого балкончика, — увидел в безмолвном мраке двора призрачно-колышущиеся очертания одеревенело застывшей фигуры Великого Старца, который успел уже туда спуститься.

— Что... что это было... Кто же это был? — снова спросил почти беззвучно Бесаме.

— И это тоже был Бетховен, Бесаме, — шепотом же донеслось снизу, — тот, кто возвел до гениальности самое простоту.

Бесаме вяло повернул в комнату и вдруг — понял!

Он шел к высокому горнему престолу: затаив дыхание, шагал Бесаме к высокому престолу, на котором покоился его собственный, пока еще не обыгранный, еще не давший вкусить себя во всей полноте, окутанный бархатным платом удлинненный инструмент, и в этой недалней, всего в шесть шагов, но такой поразительной в своей распахнутой открытости дороге Бесаме многое постиг и принял без раздумий и размышлений. С молитвенным упованием коснувшись бархата, Бесаме высвободил инструмент, и, повязав наискось бархатным платом висок, бережно, как новорож-



денного младенца, взял на руки свою флейту, некоторое время любовно глядел на нее и, преисполненный душевного волнения, медленно поднес к губам. И о чудо! Только сейчас впервые, совсем, совсем впервые он лелейно ласкал ее от всей полноты сердца, истине вкладывая в эту ласку всю душу, весь свой страстный порыв, и благодарный отклик не заставил себя ждать: в тот же миг дремавший до сей поры волшебник поднял и двинул свое неведомое, невыразимо прекрасное воинство звуков, и воздух насквозь пронизала тонкая печальная мелодия, порожденная благороднейшим из металлов — серебром. Да, теперь Бесаме действительно по-настоящему играл; все вокруг прониклось таинственной грустью, дивные видения посетили Рамону Сна, а во дворе под деревом стоял Великий Старец, крепко обхватив прохладный ствол своей выдавшей виды рукой. Едва дыша, с прикрытыми глазами, Бесаме радостно ощущал свое полное слияние с благостно-ласковой ночью, ибо во флейту вселилась призрачно-проникновенная душа Луны, а Луна стала нежно светящимся островом флейты.

— Ты все же думаешь ехать в деревню? — с едва ощутимой нежностью в голосе спросил истомленного, истрадавшегося, переполненного счастьем Бесаме Каро Христобальд де Рохас.

— Нет, о, нет, простите меня, прошу вас.

Ты слышишь, Кармен?! Коли бы стал он подобно тебе шалаться туда-сюда, то не достигь бы ему ни черта, моя хорошая. А что, если бы и ты оказалась в Алькарасе близ белого здания и услышала те волшебные звуки? Хотя на кой они тебе были нужны, когда ты сама была волшебницей, только кое в чем другом. Как ты извивалась, как ты, бесовка, играла в танце своим эластичным телом?! Когда Афредерик Я-с раздобыл-таки наконец черные чернила, ему вспомнились твои глаза: вот бы заполучить их огонька в свои строки!? Ах ты, Кармен, Кармен... А вот наш Бесаме, Бесаме Афредерика, выучился даже читать и писать, чтобы в часы досуга, когда отложена флейта, вычитывать из книг всякую всячину о выдающемся композиторе Бетховене; он не стрелял по сторонам огневы-

ми ищущими глазами, а только знай себе читал и читал, а ты, моя дорогая, выучилась бы хоть одному чему-нибудь, ну там писать или читать, или же хоть различать цифры, хотя на кой ляд все это тебе удалось, когда ты и без того отменно владела своим неблаговидным ремеслом и расчудесно устраивала все свои делишки. Я так диву даюсь, чем это ты, вся, с головы до ног, окутанная тьмою, сумела так сильно блеснуть, что величайшая рука написала о тебе повесть, тогда как бессчетное множество наипорядочнейших представительниц женского пола даже по ошибке не удостоилось за всю свою жизнь простой телеграммы. Да и не одно только это, для нас даже сочинили умопомрачительную оперу о тебе, и все это в то самое время, когда стольким девицам из приличных домов не выпало удовольствия послушать хоть какой паршивенькой, примитивной, как баранье мэ-э-к, песенки, исполненной в их честь. Что же все-таки находили в тебе такого?! Но я люблю тебя, Кармен, мне больно за тебя, я невольно вздрагиваю, вспоминая, куда только ни носили тебя твои не знавшие удержу босые ножки, — ведь в них могла впитаться злая заноза.

А тот, последний, нож? Было очень больно?..

## 9

А Картузо Вавилония:

— Нуте-ка, кто был очень плохим, но самым великим человеком?

— Наполеон, сэр.

— Правильно. А теперь давайте вот вы!

— Наполеон, милорд.

— Совершенно верно, но я требую полного ответа.

— Очень плохим, но самым великим человеком был их величество император Наполеон Бонапарт, монсеньор.

— Хорошо, молодец, ставлю вам «отлично». А ну-ка теперь вы!

— Самым великим и самым хорошим человеком, — поднялся с места наш Бесаме, ему было уже шестнадцать, — был, с вашего позволения, великий Бетховен, герр.—

Когда Картузо Вавилония злился, у него корежило



и перекашивало всю правую сторону, а в ярости — левую. Теперь дело пока что дошло до правого полуквадрата.

— Я спрашиваю о государственных деятелях, а не о подобных вам музыкантах, молодой человек.

(«О подобных вам музыкантах!»! Ого!) Аффредерик Я-с был не на шутку удивлен. Однако Бесаме не вник в смысл того, что сболтнул Картузо Вавилония.

— Я в вашем первом вопросе услышал слово «человек», сенсей.

— А разве Наполеон не был человеком?

— Кто ж его знает, бвана.

Тем единственным алькарасцем, которому наш Бесаме — тихий, послушный, порядочный, сызмальства осиротевший — осмеливался отвечать вызывающе, был гисторик Картузо, у которого в данный момент скрутило уже левую сторону:

— Слушай меня, ты, сопляк! Ты и подобные тебе вертопрахи — музыканты должны раз и навсегда зарубить у себя на носу, что если кто из вас и понахватает в жизни аплодисментов, то все равно все вы зажаты в могучей деснице того, кто владычествует в государстве, и что, стоит ему только захотеть, он любого из вас сотрет в порошок, а ныне здесь у нас на этом месте величайшая личность — де Лопес де-де Моралес, настоящий мужчина, и все вы воот таак зажаты у него в кулаке, воот таак, а он денно и ночью печется о вашем благоденствии. Он всесилен, и если ему захочется, он сдует тебя с лица земли, так что и пылинки не останется. Куда там до него твоему простофиле Бетховену! Тьфу, мразь, слизняк...

— С одной стороны, вы, быть может, изволите говорить правду, но, с другой стороны, если остановить на улице любого прохожего и спросить его, кто был во времена Бетховена самым могущественным курфюрстом, то, я думаю, он не сможет ответить. Но никак нельзя допустить, чтоб кто-то не знал, кто такой был Бетховен! Так мне сдается, Картузо Федотыч.

— Чушь мелешь!

— Я просто выразил свое мнение, Картузо-сан.

— Свое мнение, — совершенно перекорежило ле-

вую сторону Вавилония, — спрячь для ослов, а пока что я выставляю вам «неудовлетворительно» по истории.

— При чем тут история, пан Картузо?

— При том, что именно по истории я пишу тебе «неудовлетворительно».

— Почему, батано?

— Это не твое дело! И немедленно оставь принадлежащую аудитории территорию. — Картузо проводил его гневным взглядом: — Недоносок!

Бесаме не совсем осторожно прикрыл за собой дверь, и весь скрученный на одну сторону гисторик угрожающе пустил ему вдогонку:

— Я не я буду, если не упеку тебя на восстановительные работы!

На разбросанных в океане островах сидело по одному властелину, каждый из которых пребывал на своей земле в полном одиночестве и должен был ценной муки мученической, бесконечных терзаний, неизреченного блаженства и высших минут вдохновения в неусыпных трудах вырастить на своем острове играющее переливами красок чудо-растение с парящими в воздухе, вибрирующими корнями. Были в консерватории такие, что правили своими островами мудро-гибкими, эластичными пальцами, другие, постигнув их душу, вливали в них жизнь своим дыханием, и растения шли в рост, набирались силы, прелести, очарования, и их когтистые корешки прорастали в тех дальних, незримых извечных материках, имя которым — Бах, Гендель, Моцарт или же, в данном случае, Бетховен.

Наш Бесаме сидел пока что всего лишь на крохотной отмели и каждый божий день даже во сне, даже в грезах жил боязливо-нетерпеливым ожиданием новой встречи со своим трудным музыкальным инструментом. Любой инструмент труден по-своему, но Бесаме казались сравнительно легкими кларнет или альт.

Его ежеутреннее пробуждение было все таким же, как в первый день, — в головах у него все так же лежала сухая, вытянутая в длину, но теперь уже с нетерпеливо настоорожившимся в ней волшебником, готовая ожить под первым же теплым дуновением из его уст целая страна, слышите вы — целая страна,



целый мир, и ему каждый миг помнились слова флейтиста из флейтистов, доброго старого маэстро Карлоса Сеговии: «Твой остров, мой Бесаме, — это флейта, а флейта схожа с дыханием пригорюнившегося ангела».

А Бесаме, сидевший пока что на узенькой отмели, весь отдавшись игре, черпал и черпал полными пригоршнями родную щебенистую землю, в которой, видать, попадались и камни, потому что, играя, он частенько спотыкался, терзая свой уже чуть-чуть умудренный слух, от чего у него воротило все нутро. Оставался ли он в своей комнате или поудобнее умащивался в выемке утеса, затаившийся во флейте неподатливый волшебник уже не мог больше пребывать в сонном безразличии, он то ускользал куда-то, то делал первые неверные шаги по маленькой, но постепенно растущей в размерах отмели и принимал при этом самые разнообразные, но только всегда печальные обличия, и никто бы не мог заставить его смеяться. Ох, же и грустный, печальный инструмент эта самая флейта! Безмолвно, с затаенным дыханием требует она ласки, а когда Бесаме нежно-пренежно прикивал к ней стыдливими устами, ему, грешной душе, вспоминалась порой Рамона Роши...

А тебе, Кармен, только б гитару да кастаньеты, а все остальное хоть пропадай пропадом. И как бы ты звонко, во все горло расхохоталась, услышав такие, к примеру, до глупости наивные речи:

— Я никогда и шагу не ступлю по улице Рикардо, — заговорила неожиданно Рамона Сумерек. Ее стан, подобно ромашке, охватывало белое в желтую крапинку платье. Они осторожно спускались с холма, и Рамона Доверия опиралась на руку Бесаме, который боялся дохнуть от сознания собственной ответственности. — Не ступлю потому, что в конце улицы Рикардо стоит скверный дом. Ты знаешь об этом?

— Да.

Шестнадцатилетний мальчик, четырнадцатилетняя девочка.

— Откуда ты знаешь? — Рамона Гнева даже приостановилась и рассерженно отдернула свою такую

нежную и вместе с тем так трудно постижимую словно музыкальный инструмент — руку.

— Тахо сказал, есть у нас такой мальчик, испуганно вздрогнул Бесаме.

— Где сказал?

— В консерватории, на перемене.

— В величественно-белом Доме Музыки, в храме божественных звуков, — стала вдруг очень строгой Рамона Высокопарности, — тебе говорят такие вещи?!

— Нет, он не мне говорил, я просто услышал, как он сказал кому-то.

Бесаме говорил правду.

— А-а, тогда ничего, — сразу же смилостивилась Рамона Великодушия над напрягшимся от волнения Бесаме. Она снова оперлась на него рукой, и когда вдруг сразу же опять отняла руку, Бесаме встревожился, но тут Рамона сказала:

— Видишь вон тот цветок. Принеси мне, я хочу.

А Картузо-ага Бабилония топтался в приемной великого герцога. Он был в сильном волнении: вот уже шесть дней как в полости рта у него засело нечто весьма важное, что ему не терпелось выложить. А за стеной, затянутой коврами, пребывал в презрядном волнении сам великий герцог Лопес де Моралес; подобно преславной и пренедоброй памяти Бонапарту, и он тоже мог делать одновременно два дела — первое то, что он тревожно сновал взад-вперед, — это одно, а к тому же еще и думал при этом (это второе): «Интересно знать, чего он хочет... Как-никак он все же таки законный муж, и, быть может, у него иссякло терпение... и он решился...» В страхе перед острейшим ножом, запрятанным в рукаве внушающего подозрение гостя, великий герцог приказал своему мужского пола секретарю — дюжему, здоровенному парняге — сказать Картузо следующее: «Если вы желаете попасть к великому герцогу, то предварительно вас должен — совершенно безвозмездно — тщательно отмыть-оттереть банщик». — «А это зачем?» — «Затем. Следуйте за мною вниз, там баня». Бабилония слегка передернуло, ибо ведь и свою жену, шумно известную Мергрет Боскана, он сам тем же манером —



тщательно отмытую и оттертую — отправлял на встречу с тем же герцогом; а еще чуть позже, распластавшись ниц на безучастной мраморной лежанке с ослепившим его терщиком на спине, он думал, испытывая неприятные подозрения: «Как бы еще эти охальники не учинили надо мной чего...», но он ошибался — в соседней комнате трое очень тщательно пошуровали в его парадно-дорогом костюме и в три пары глаз обырили его документы. Только и всего.

— Величайший из великих герцог, кислородно сияющее солнце, озаряющее преславную и раздольную провинцию Мурсия, надеюсь, ваша милость пребывает в благоденствии и красоте, а? — так спросил набанившийся гисторик, на вечно лоснящейся физиономии которого еще не успел проступить плотский жир.

— Слушаю вас, Картузо.

— Я весьма и весьма безмерно рад, что вы чувствуете себя хорошо и изволите пребывать в добром здравии, пошли вам господь силы двухсот быков-бугаев...

— Я сказал, что слушаю вас.

— Это секрет, ваше счастливоблагорожденное благородие, — зыркнул по сторонам копатель вековых недр, — если бы ваши телохранители на несколько минут оставили ваш светлый глубокоделовой кабинет, я бы тотчас же вам все изложил.

— Это пустяки, все трое туги на ухо, — сказал герцог, швырнув в хрустальную урну только послуживший ему к утиранию лба весь просалившийся носовой платок и доставая новый обреченный носовой платок. — Говори, что тебя беспокоит, только поживее, не тяни.

— Великий герцог, я хочу покорнейше просить вас, чтоб вы собрали всех музыкантов провинции за одним общим на славу накрытым столом...

— Но у них ведь есть зарплата? — приглушенно спросил Лопес де Моралес и слегка наострил уши в ожидании ответа.

— Есть, как не быть, — бойко выкрикнул третий телохранитель.

— Ну а если так, то с какой же стати они должны жрать-пить за мой счет, — строго глянул на Картузо одно-двухразовый в месяц друг-приятель его же ны.

— Зарплата у них вашими щедротами есть, великий герцог, но дело совсем не в том, чтоб кормить их и поить, я хочу...

— Да выжми же наконец из себя слово, говори толком, чего ты хочешь?

— Я хочу, чтоб мы всех их отравили.

— Что?

— Отравить хорошенько, чтоб все передохли.

Главноначальствующие провинций частенько сталкиваются с удивительными вещами, да, да, но наш Лопес только трижды на своей должности был крайне изумлен. Первый раз это случилось на дороге Валенсия — Альдабадакра — Мадрид<sup>1</sup>: великолепный, только-только доставленный из Аравии чистокровный скакун почему-то страшно нехотя переставлял под герцогом ноги, а когда седок ласково потрепал его по лоснящейся холке рукой и спросил по-испански: «В чем дело, почему ты заскучал?», то животина, чуть свернув голову набок, глянула на него искоса и по-испански же ответила: «Как тут не заскучать, собачий ты сын? Тебе ли восседать на таком коне, как я?» Вот тогда-то и был впервые переизумлен наш Лопес: откуда мог этот арабский скакун знать по-испански. А второй раз — на торжественном сборище, созванном в честь девяносто четвертой годовщины со дня рождения герцога Альбы и устроенном символически в отягченном зрелыми плодами саду, где наш Лопес, стоя на своих на двоих, говорил речь, провозглашая светлую память и славословя имя национального героя, когда во время его содержательной речи с дерева сорвались и упали именно на его кресло две черешни, что осталось незамеченным сопровождавшими его лицами, и когда он, Лопес, под бурю аплодисментов уселся в своих белых брюках на эти самые черешни, а затем горделиво прошествовал перед замершим по стойке «мирно» гарнизоном и телохранители не посмели даже намекнуть ему о столь щекотливом обстоятельстве, де-

<sup>1</sup> Мадрид — город в Испании.



лая вид, будто они ничего такого не замечают, а кто из присутствовавших даже подумал, что эти кричащие пятна — не что иное, как новая награда или регалии, связанные с новым званием, вот тогда-то именно, в тот самый вечер, его чуть было кондрашка нехватила, когда, встретив его дома, жена, любящая резать правду в лицо, все это ему так прямо и бухнула, да еще дала ему как следует насмотреться на собственную нижнеспинную часть тела в зеркальном зале. Это — второй раз. А в третий раз он изумился теперь:

— Но зачем?

— Так нужно.

— Но почему же?

— Ничего не поделаешь, так нужно, ваше блаженное благородие.

— У-ух! Будешь ты наконец говорить ясно, ублюдок! Все трое марш из комнаты... Слушаю вас, синьор.

— Для вашего благоденствия в потомстве, всемиловитивейший государь, именно это в точности и необходимо.

— Переморить всех музыкантов?

— Обязательно, — резво откликнулся Бабилония, лоб-нос-щеки которого уже сплошь покрылись очень плохого сорта жиром. — Надобно истребить их, как мышат, чтоб не попискивали по-мышинному на своих дурацких инструментах.

— Но почему? Музыканты в основном безобидный народ.

— Вы называете их безобидными, — пригнулся к герцогу довольно далеко от него стоявший Бабилония, — но может статься, что лет эдак через триста народы мира не будут знать досконально обо всех ваших заслугах и путях ваших великих свершений, и все потому, что все их пустейшее внимание будет сосредоточено на какой-то музыкантской швали вроде Бахтховена.

— А при чем тут эти болваны — музыканты Мурсии?

— Как бы кто-нибудь из них не вышел в знаменитости!

Воплощенный титул Лопес прошелся-стай прошелся по кабинету. Глубоко призадумавшись над ответом-выбором, он с головой погряз во всяких взвешиваниях-перевешиваниях, и, чтоб как-то заполнить молчание, нет-нет ронял беспредельно небрежные вопросы:

— Жена у вас есть?

Тут даже сам Картузо и тот растерялся.

— Ну-у, не так, чтобы...

— Имя?

— Чье, жены? — окончательно опешил Картузо.

— Нет, музыканта.

— Бахтховеном называют, но мне кажется, что это фамилия. Прикажете уточнить?

— Нет надобности... Вот у правителя Сьерра-Невады... музыкантов очень много... незначительные осадки.. на что я сел.. а он-то не промах.. — ронял порой обрывки мыслей местнопризнанный правитель. — Приемы за приемами... все хотят музыки... у меня часто бывают гости... А если они скажут... Люстра...

Когда Лопес де Моралес придумал наконец верный ответ, он сразу же отверг всякую небрежность и вновь стал герцогом, — он степенно опустил в кресло, твердо уперся кулаками в дорогой резной стол, с силой вжал подбородок в плюемый воротник и, пристально уставившись в глаза гисторика, изрек:

— Через триста лет, Вавилония, то есть после меня, хоть трава не расти, а у меня, у нынешнего, сегодняшнего герцога, должен быть обслуживающий меня и представляющий меня в наилучшем свете персонал, как то: телохранители, повара, музыканты, терщики, — и, преисполненный коварства, опустив голову и посмотрев очень исподлобья, спросил: — Ну чем, чем я хоть сколько-нибудь хуже других герцогов?

— Ничем не хуже, превеликий государь, второго подобного вам я не знаю на всем белом свете, чем вы...

— А теперь изволь отправляться. И во время сна не повизгивай, это нехорошо.

Окончание следует





## ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ТЕТРАДИ

●  
Мне ни за что тот вечер не забыть,  
Когда хрестоматийные слова  
Смогли меня от спячки пробудить.

●  
Стихи умирают в сердце.  
Истина.  
Неужели  
стихи умирают в сердце,  
как невесомый мир?  
И неужели слово —  
это лишь тень, по инерции  
отброшенная на бумагу  
посредством пера и чернил?

●  
Мне кажется, что я виной всему.  
Мне, как послу пред вражеским советом,  
Расплачиваться надо одному  
За всю страну. А может, всю планету.

●  
Мои стихи меня не берегут.  
Они меня несколько не жалеют...  
Как дети жадные — берут, берут, берут.  
Лишь иногда мне сердце лаской греют.

## ИЗ ЦИКЛА «ВЕЧЕРА В ИМЕРЕТИИ»

●  
А вечером на веранде бабушки, трогательно суетясь,  
накроют стол,  
и запахнет земляничным вареньем и дзирульским чаем,

и светлячки, пошатываясь, выплывут из-за марани  
посмотреть, что тут, собственно, происходит,  
а потом, потеряв интерес, поплывут в виноградник  
и исчезнут из поля зрения,  
и кошка египетскими томными и алчными глазами  
посмотрит на банку с ветчиной и предательски  
замурлычет,  
и даже попытается вспрыгнуть на стол,  
но тут же на мгновение испугается своей дерзости,  
отбежит в уголок и зажмурится,  
и вы засмеетесь своим чистым смехом, и станет тихо и  
хорошо.  
так тихо, что будет слышно, как по другую сторону  
ущелья залаяла собака,  
и зажгутся огоньки в домах,  
и поезд еле слышно пройдет далеко внизу,  
и все стихнет, кроме тиканья часов.

---

Речь идет о стихах, написанных юношей пятнадцати лет. Он живет в Москве и учится в русской школе, но кровно связан с грузинской землей и культурой.

Его «материнский язык» — это язык русский, язык русской классической литературы и русского фольклора. На этом языке он выражает свои чувства, мысли, свой личный жизненный опыт, достигая подчас живости тонких запечатлений.

Язык грузинской классики и грузинского фольклора — это духовное богатство его человеческой памяти и предпамяти, которые держат свой путь и впадают в реку художественной реальности столь еще молодого, но — несомненно — одаренного поэта.

Сейчас невозможно предвидеть, как и при каких обстоятельствах его дарование достигнет зрелости. Это будет зависеть от степени его внутренней свободы, от меры его сил и духовного благородства, а также от множества людей и обстоятельств, не поддающихся никаким прогнозам.

### СТРАННЫЕ СНЫ

Мне снится сон о том, чего  
не стало,  
А, может, не бывало  
никогда.

А, может, из грядущего  
попало  
Сквозь этот сон в текущие  
года.

О жизни, что по сумрачным  
каналам  
Сигналы шлет невнятицею  
фраз.



Стихи, где нет фальшивых нот,  
Где дышит вдохновенье.  
Стихи, что не могу я вспомнить по утрам.  
Верлен.

Глядя на черные, тугие морские волны,  
монотонно бичующие прибрежные скалы,  
глядя на узенькую полоску восхода,  
краснеющего от собственной дерзости,  
глядя в ваши глаза, одновременно веселые и грустные,  
которые я никогда не смогу описать,  
я понимаю, что мои лучшие стихи — те,  
которые я забываю перед своим пробуждением.

Мне снится сон... Так много  
и так мало  
От жизни тайной отделяет  
нас.

В ранних стихах, отмеченных искрой божьей, всегда есть покоряющая нас прелесть и обаяние безоружной отваги, не ученической дрожи, внезапно расцветшей грусти. Но это, как правило, ценится десятилетия спустя и то при условии, что поэт достигнет категорической и безоговорочной «знаменитости».

«Я понимаю, что мои  
лучшие стихи — те,  
которые я забываю перед  
своим пробуждением».

«А под окном, как  
десять гильотин,

Стучит машина для уборки  
снега  
И рубит головы мной  
виденных картин».

Эти строки, на мой взгляд, стоят того, чтобы Вы, дорогой читатель, заинтересовались творчеством и дальнейшей судьбой их автора, совсем еще юного поэта. Его зовут Игорь Эбаноидзе.

...Слабости ранних стихов легко изживаются, но какая-то их особенная искренность, детская святость не поддаются ни улучшению, ни подражанию. Более того, при попытке избавить такие стихи от явных недостатков совершенно разрушается вся хрупкая их структура.

Есть свои законы и тайны у отроческой поэзии.

Юнна МОРИЦ

●  
Небо, словно ночной океан,  
Успокоившийся и уснувший.  
В нем рассеивается туман  
Облаков. Это отзвук минувшего.

Две звезды, словно два корабля,  
Что дрейфуют, мерцая огнями...  
Отражается небом земля.  
Голос звезд отражается нами.

●  
Я хотел бы написать закат,  
Лес, вдали горящий.  
Я хотел бы написать закат —  
Колокол гудящий.

Я хотел бы море написать  
В отголосках лунных.  
Я хотел бы море написать,  
Шелест волн бездумный.

Я хотел бы горы написать:  
Ослик с грустными глазами...  
Я хотел бы горы написать.  
Чем? Словами?

Что же сердце бьется невпопад,  
И тревожно?  
Написать закат  
Невозможно.

●  
Солнце встает. Мне грустно.  
Я дом на горе покидаю опять.  
Все повернется вспять...  
Господи, как же мне грустно!  
Я бы смотрел и смотрел, жив пока,  
как тихо плывут надо мной облака,  
как кошка на солнце сидит у крыльца,  
зеленые горы грядут без конца,  
поблескивает в ущелье река,



а там, за хребтами, сверкают снега.  
Беззвучно сменяют друг друга века...  
Солнце встает...



●  
Мне снятся сны дурные. Я лечу  
По гулкой бесконечности колодца.  
Я наверху не погасил свечу —  
Она горит там едим малым солнцем.

Я втянут. Я захвачен в колесо  
Ходов подземных, лестниц, стен без окон.  
Я с темнотою заперт на засов,  
Глядящей неподвижным черным оком.

Я втянут. Я в лесу. Он гол. Есть ночь.  
Ко мне он тянет сучья. Небо в пятнах.  
Я прочь бегу, и мне бежать невмочь.  
Иль мозг ногам команды шлет невнятно?

Я втянут. Мне отсюда не уйти.  
И я, навек отрезанный от света,  
Хочу... Я просыпаюсь. Воет ветер,  
А под окном, как десять гильотин,  
Стучит машина для уборки снега  
И рубит головы мной виденных картин.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Ветер без имени. Тени ночные.  
Листья, отклеившиеся от веток,  
Словно бумаги листы золотые —  
Той, на которой пишут поэты.

Сны сумасшедшего. Вольность простора.  
Море, теряющееся вдали.  
Солнце, зашедшее за косогором.  
Всадник-мираж в золотистой пыли.

Внутренний трепет, едва уловимый.  
Грусть — эти слишком тяжелые крылья.

Звезды, что связаны нитью незримой.  
Вольный скакун, норовистый и взмыленный



Отсвет души, все от слов ускользающий.  
Скрипки надрыв, уносимый ветрами.  
Станный ландшафт облаков догорающих.  
Эхо застывшее над горами.

Бунт шести струн под окном у возлюбленной.  
Исповедь передо всем человечеством.  
Совесь израненная, но не обрубленная.  
И смена волн, уходящая в вечность.





**А**КАКИЙ Гацерелия не относится к категории художников, главной сферой своих наблюдений избирающих тот или иной социальный круг, ставящих целью выявление нового типа человека или же обличение социальных пороков. Бытовые подробности жизни служат для писателя лишь художественным фоном для изображения подлинно человеческих страстей. Духовный мир его героев, несущих на себе печать возвышенности, поэтичности, всегда отмечен национальным колоритом. Надо сказать, что произведения Акакия Гацерелия как художественные, так и научные вообще отличаются особым артистизмом, вполне отвечающим их возвышенной тематике: «Грузинский классический стих», «Некоторые вопросы поэтики «Витязя в барсовой шкуре», «Петр Ибер и вопросы ареопагетики», Блаженный Августин, Шота Руставели, Данте... Верное чутье писателя и ученого подсказало ему, что только в высших мыслительных сферах возможно проявление близости мироощущений Руставели и Данте; оно же указало ему путь к тому «небесному мосту», который связывает этих двух гигантов. В иссле-

Дали ИНЦКИРВЕЛИ

## ЕМУ ЕЩЕ МНОГОЕ ЕСТЬ СКАЗАТЬ

Перевод Хатуны ЛУТИДЗЕ

довании «Художественная модель неба у Руставели и Данте» Ак. Гацерелия доказал тождество моделей неба в «Витязе в барсовой шкуре» и в «Божественной комедии», а также же наличие ссылок этих двух авторов на трактаты Псевдо-Дионисия Ареопагита...

Для его писательского искусства характерна связь гуманистической проблематики с культом женщины, что так сближает грузинскую литературную традицию с западными традициями. В очерке «Данте и преисторическая Грузия» Ак. Гацерелия говорит о дантовской интерпретации колхской легенды о Медее. Исследователь отмечает, что Данте не придерживался ложной традиции, утвердившейся в римской поэзии со времен Еврипида, согласно которой Медея убивает собственных сыновей. Автор «Божественной комедии» помещает в ад только Ясона, Медеи нет среди грешников. Изучив во всех подробностях сведения о легендарной Медее, сохранившиеся в греческой мифологии (до Еврипида), Ак. Гацерелия заключает, что автором версии о чудовищном преступлении, содеянном колхской женщиной, является гениальный Еврипид, и она вполне соответствовала художественной концепции эллинского драматурга. (Позднее эту точку зрения подтвердил выдающийся американский ученый Джеймсон в своем труде «Мифология древнейшего мира»). По мнению Ак. Гацерелия, дантовская интерпретация греческой легенды о преисторической Грузии является поэтическим фактом всемирного значения. Имя Данте таким образом оказалось навсегда связанным с историей и культурой грузинского народа. Гуманистический пафос дантовских поисков нашел живой отклик в беллетристике писателя.

Духовная чистота женщины, ее тонкий внутренний мир в новеллах Ак. Гацерелия обретают символическое значение и получают статус общественного. Женщина как носительница национальных духовных достоинств является для писателя феноменом. Уже в ранних рассказах Ак. Гацерелия, посвященных решению бытовых проблем («Рассказ художника», «Мятеж»), его героини и в сложнейших социальных условиях сохраняют душевную теплоту, искренность, затаенную гордость.

В опубликованных за последние годы двух новеллах писателя — «Цабута и ее рыцарь» и «Замарашка» женщина выступает в роли поистине символической героини. Оба эти произведения — о глубокой человеческой драме. В них отразилось совершенно новое мировосприятие автора; вместе с тем читателя привлекло мастерское воплощение ху-



дожественного замысла. Новеллы исполнены такого изящества, что оставляют впечатление камерной, созерцательной поэзии, герои же, являясь неотъемлемой частью пасторального фона, несут на себе печать неповторимости.

Сюжет рассказа «Цабута и ее рыцарь» на первый взгляд может показаться гротескным, но было бы грубой ошибкой считать его сатирой. Старая дева Цабута, дочь дьякона Луки, заботой о собаке, которую она назвала претенциозным именем — Астандар Дадиани — пытается хоть немного скрасить свое бесцветное одинокое существование. Она накрывает праздничный стол, одевается в белое платье и угощает наряженного в чоху Астандара. Нужно иметь чуткую, возвышенную душу, чтобы суметь передать тайную боль несчастной женщины, не оскорбляя ее достоинства. Ак. Гачерелиа прекрасно справляется с этой нелегкой задачей. Вся деревня чувствует, что над Цабутой смеяться нельзя. Даже полоумный фотограф догадывается, что за этим комическим эпизодом кроется серьезная драма; ему удалось сфотографировать Цабуту, увлеченную угощением собаки, но он не проявит пленки. Никто из соседей не сознает того, что дочь дьякона Луки просто не может не мечтать о красивой жизни, о прекрасных взаимоотношениях. И вправду, кто знает, о чем мечтают наедине с собой одинокие люди, чем они утешают себя. Ведь человек не машина! Цабута работает с утра до ночи, она не мещанка, не скопидомка, и порой чувствует необходимость в близком друге, пусть самом малом, но дружеском сочувствии... Как же ей, приобщившейся к учению дьякона Луки, привыкнуть к бездушной повседневности, как приладить чоху к глупому животному, чоху, предназначавшуюся для Астандара Дадиани? Как проклятие судьбы, несет в себе Цабута, задыхающаяся в удушливой атмосфере цинизма и торжества физической силы, неосуществимую девичью мечту... Эта художественная зарисовка подобна медальону, на одной стороне которого изображено животное в чохе, а на другой — исполненное беспредельной грусти лицо старой деви.

Создание чудесного рассказа «Замарашка» опять-таки обусловлено «исчезновением» Астандара Дадиани. Эмму, самую красивую девушку в деревне, с душой чистой, как полевой цветок, даже внешняя красота не может спасти от одиночества. Этот юный, попавший на убогую почву побег обречен на бесплодие. Причина семейной трагедии — в муже Эммы Уче. Правду о здоровье Учи знает лишь Агнеса, его един-

ственная сестра, бессердечная и корыстная женщина. И в этой новелле единство конкретного и общего осуществляется с помощью художественных образов, взятых из самой действительности и показанных под разными углами. Символический план так искусно замаскирован присущими лишь бытовой драме художественными аксессуарами, что средний читатель, не привыкший видеть за малым большого, и не подозревает о его существовании. При такой связи между частным и общим писатель не предъявляет даже минимальной претензии на символичность и ни в коей мере не ограничивает читательскую фантазию. Героиню своего рассказа он называет «Эммой», тем самым словно говоря читателю: я не возражаю, если после прочтения моего рассказа у вас возникнет ассоциация с французским романом. Герои Ак. Гацерелия, несмотря на их глубокие душевные переживания, заряжены мощным зарядом внутренней, духовной энергии, чувствуется, что они черпают из той великой нравственной сокровищницы, что испокон веков передается от поколения к поколению...

Между обыденным и героическим нет ничего общего. Эта мысль лежит в основе новеллы «Двойник», в которой описан один день из жизни сына Шамиля Мухаммеда-Шафи. Приехав из Казани в Париж, он встречает своего «двойника», который с целью выманить у собравшегося под навесом в Сен-Мартене общества деньги бесстыдно плетет небылицу, якобы приключившуюся с ним на войне. Появление настоящего Мухаммеда-Шафи производит удивительное действие. Никто не возмущен поруганием истины. Общество обеспокоено лишь прекращением буффонады — это ведь его единственная духовная пища. Бездельникам, собравшимся под навесом в Сен-Мартене, нет никакого дела ни до подлинного смысла жизни Шамиля, ни до трагической гибели его дочерей. Истина для толпы слишком сложна и трудно воспринимаема. Ей доступно лишь созерцание масок, она жаждет сенсационных зрелищ, причем отвечающих ее вкусу. Оскорбленные в своих лучших чувствах зрители требуют возвращения денег. Неудивительно, если они станут преследовать настоящего Мухаммеда-Шафи, чтобы еще раз не остаться в дураках. Сыну имама ничего не остается как покинуть Париж и вернуться в Казань, спасаясь от своего «двойника».

Лучшие годы своей творческой деятельности Ак. Гацерелия посвятил художественному воплощению эпоса о жизни



Шамиля. Писатель и сейчас продолжает работать над этой темой. Он досконально изучил богатейшее историческое прошлое кавказских народов, богатые традиции дагестанцев, лезгинов. В цикле новелл, созданных по дагестанским мотивам, привлекает внимание противопоставление двух ипостасей Шамиля: Шамиль-властелин и Шамиль-пленник. Имамат обречен на гибель, но Шамиль все же борется до последней капли крови. Его жизненный уклад непоколебим, его повседневный мир нерушим. Он не ударяется в мистику и не ищет утешения у самозванцев-святых. Покарав последнего предателя, он хладнокровно встречает приговор судьбы. Финальным аккордом этой неповторимой и неравной войны является трагическая гибель первого наиба Шамиля Амзата: преданный своими же собратьями, тайно поддерживаемыми войсками противника, Амзат вместе со своей семьей на любимце-коне бросается в пропасть. Самоотверженность отважного лезгина, участвовавшего в войне против «неверных», столь естественна для мировоззрения автора, что этот героический эпизод передан им почти в мажорных тонах.

Жизнь пленного Шамиля — это мрачное торжество возвышенного духа над мимолетностью жизни. Учитывая чередование мажорного и минорного тонов (душевный кризис имама и трагический период его пребывания в России), можно сказать, что эти два цикла новелл так же отличаются друг от друга, как, например, сонеты Петрарки, написанные до и после смерти Лауры. В калужской одиссее со всей полнотой раскрывается животворная сила скрытого катарсиса. Приключения Шамиля на российской земле свидетельствуют о величии его духа: в ожидании смерти горный тигр преисполняется философской мудрости и со сверхчеловеческим спокойствием принимает приговор судьбы, до последней минуты не теряя детской чистоты души и веры во всевышнего. Нравственное превосходство Шамиля над «цивилизованным миром» говорит о большой духовной культуре кавказского народа. В новелле «Имам в ложе» рассказывается о том, как вокальное искусство итальянской примадонны Мансей пленило дикое сердце горца. Слушая в Курском театре итальянскую оперу, Шамиль вспоминает свою юность, родной аул, первую любовь. Обаяние его личности полностью раскрывается в калужский период жизни. Потеряв власть, он остается выдающимся человеком, героем, глубоко презирающим обывательскую жизнь. В «Ученике Боско» мастерство знаменитого итальянского иллюзиониста, паяца Кери вызывает в экс-имаме ассоциацию с хит-

рыми маневрами опытного властелина. Перед величием смерти и военное дело кажется ему лишь паясничаньем.

Результатом слияния документального материала с безграничной поэтической фантазией явился рассказ Ак. Гацерелия «Смерть Бараташвили», который бесспорно один из самых интересных, написанных на эту тему. Фон убогой повседневности не может подавить стремления к бессмертию души, непокорной земному уделу. За прозаическими масками писатель дает нам почувствовать скрытую иронию неумолимой судьбы.

В новеллах Ак. Гацерелия предметы несут не менее важную функцию в выявлении символического замысла, чем события и люди. Символичен фотоаппарат, превращенный в руках пресловутого фотографа в оружие нападения; символичен бинокль Шамиля, в который он смотрит то на поле битвы, то на сцену театра (оружие, оказывается, тоже имеет свою судьбу, говорит нам автор); символичен зеленый кипарис, посаженный церковным сторожем на Елизаветпольском кладбище у могилы родственника Николоза Бараташвили, поручика Георгия Баратова, и теперь терпеливо ожидающий останков поэта... Глубоко символично также золотое, с большим сердоликом, кольцо на указательном пальце левой руки барона Николая, доставшееся ему от прабабушки мадам де Сталь, — свидетельство его превосходства над другими людьми.

Для Гацерелия внешний портрет героя — своего рода иероглиф, скрывающий глубокие душевные тайны. Чем старше человек, тем четче отпечаток души на его лице. Давно прошла юность героев «Последней молитвы Назара» — командующего карательным отрядом полковника Нижарадзе и обвиненного в содействии мятежникам митрополита Назара. На лице полковника не осталось даже следа от прежней красоты, да и сам Нижарадзе с трудом признал в старике своего учителя. Оба героя прожили немало, их духовный облик вполне сформирован. Чтобы показать нравственное превосходство Назара, писателю ни разу не пришлось прибегнуть к стандартному внешнему эффекту. Герой идет к богу не искусственным путем. Читатель верит в его простоту, безыскусность, он свободен от всякого позерства, сентиментальной религиозности. Его скорее характеризует толстовское упрямство, когда он говорит: «Бог — это то, частицей чего является моя душа». Жестокость Нижарадзе не может причинить вреда Назару; старик-митрополит видит, что этот человек живет лишь по инерции, а душа его давно погрязла в омуте тупости и раз-



врата. Перед приведением приговора в исполнение митрополит Назар предлагает убийце частицу своей души. Его последняя молитва — за спасение души врага. Театральный эффект чисто отвергнут; невольно вспоминается роман Сенкевича «Камо грядеши». Призрачная скульптура души Назара оказывается на вполне реальном пьедестале.

В новеллах Акакия Гацерелия запоминается пейзаж. Как гармонично вписываются в тот или иной сюжет скалистая, суровая, и в самом деле героическая земля Дагестана, нежная, исполненная трогательного лиризма красота деревень Мингрелии, угрюмые, безутешно тоскливые места Елизаветполя; туманные, объятые грустью улицы Калуги, возвышающийся на фоне ночного кутаисского неба золоченный купол церкви, усеянный голубями...

Иногда кажется, что непосредственному восприятию художественных произведений Акакия Гацерелия несколько препятствует его авторитет ученого. Парадоксально, но Гацерелия-исследователь часто стоит между читателем и собственными литературными произведениями. Определенную роль здесь играет и некоторое опасение: что, если рожденная глубокими душевными сдвигами художественная правда затемнит в нашем представлении уже отчетливо сформировавшийся образ мыслителя, и избыток эмоций ослабит холодный блеск интеллекта... И мне пришлось испытать это опасение. Но оно не оправдалось. Необычным и неожиданным предстал он в амплу лирика и рассказчика. Только человек, обладающий гармоничной душой, может совместить любовь к истине с большой гуманностью, глубокой человеческой ответственностью, рыцарски защищать беспомощную красоту, веру, лишившуюся почвы, мыслить многозначными символическими образами. В одной из своих статей критик Георгий Маргвелашвили причислил Акакия Гацерелия к элите советских писателей, «духовный опыт, всеохватывающие познания, творческая и творящая память которых в такой мере аккумуляровались в себе культуру нашей эпохи, как разве лишь считанным и избранным единицам удалось это сделать среди здравствующих старших наших современников».

Жизнь и творчество Ак. Гацерелия являются поистине стихийным проявлением духовной потенции нации. Этим объясняется многогранность его интересов и тот глубокий артистизм, который стирает грани между наукой и искусством.

# СПЕЦИФИКА

## ИСТОРИЧЕСКОГО

### РОМАНА

**С**ТАНОВЛЕНИЕ исторического романа как жанровой разновидности связано с именем выдающегося английского писателя Вальтера Скотта. Высшими достижениями в области исторической романистики следует признать такие шедевры русской прозы XIX века, как «Капитанская дочка» Пушкина и «Война и мир» Льва Толстого.

Особого расцвета исторический роман достиг в литературе социалистического реализма. Советский исторический роман («Петр Первый» Алексея Толстого, «Десница великого мастера» Константинэ Гамсахурдиа, «Переяславская Рада» Натана Рыбака, «Вардананк» Дереника Демирчяна, «Блокада» Александра Чаковского и др.) в сравнении с классическим историческим романом — качественно новое явление и одновременно существенная составная часть художественной культуры развитого социализма. Именно этим и обусловлено то особое значение, которое приобретает изучение данной проблемы.

Те или иные разновидности романа (социальный, психологический, приключенческий, детективный, исторический и др.) характеризуются общими жанровыми признаками. Для выявления специфики исторического романа теоретики литературы должны установить его отличительные признаки, которые позволят отграничить исторический роман от других вышеуказанных разновидностей романа.

В связи с данной проблемой представляет интерес выяснить, какие ведущие литературные жанры могут, а какие не могут быть представлены «исторической» разновидностью. Разумеется, нельзя считать случайным тот факт, что не существует исторической разновидности лирического стихотворения, несмотря на то, что целый ряд лирических произведений посвящен тем или иным историческим событиям и личностям. Это объясняется тем, что лирический и эпический роды основаны на противоположных началах. Историческая тема по самой своей сути эпична. Лирика же в силу того, что ее специфическое начало прямо противоположно эпическому, не обладает соответствующими средствами для воссоздания



исторической тематики. Поэтому стихотворения, написанные на историческую тему, не воспроизводят объективного содержания исторических явлений, а выражают лишь лирическое отношение к ним.

По существу так же обстоят дела и с исторической разновидностью комедии. Не случайно, что в литературоведении отсутствует понятие «историческая комедия», хотя на историческом материале построено немало комедий. Так, Поликарпэ Какабадзе принадлежит ряд комедий на историческую тему, однако он, подобно другим по-настоящему талантливым комедиографам, изображая историческую тему, придавал комедийной форме сатирическую направленность, вследствие чего его произведения должны быть отнесены к разряду сатирических комедий.

На первый взгляд кажется парадоксальным, что в результате синтеза исторического содержания и комедийной формы мы получаем не историческую комедию, а сатирическую. Но это не случайно — в сфере родов и жанров литературных произведений проявляются существенные закономерности. Уяснению этих закономерностей могут помочь наблюдения над некоторыми романами, созданными на историческую тему.

Как известно, в одном из своих самых широких по временному охвату прозаических произведений — «Острове пингвинов» — Анатолий Франс поставил целью проследить историю развития человечества — с древнейших времен до предполагаемого будущего. Для осуществления этой творческой задачи писатель избрал сатирико-юмористический аспект, который и обусловил специфику романа как сатирического, а не исторического произведения, хотя здесь налицо романная форма и историческое содержание. Равным образом и «История одного города» Салтыкова-Щедрина не может быть отнесена к разряду исторических произведений как не имеющая существенных связей помимо наличия самых общих жанровых черт, с исторической разновидностью романа, поскольку писатель осуществлял сатирический замысел и пользовался соответствующими этому замыслу сатирическими формами.

Приведенные примеры способствуют уяснению одной важной закономерности: исторической разновидности жанра противопоставлен сатирический стиль. Разумеется, мы имеем в виду всю стилистическую систему произведения, соответствующую его образной ткани, а не комическую, сатирико-юмористическую окраску отдельного образа или эпизода.

Некоторые исследователи чрезмерно преувеличивают сложность исследования специфики исторического романа (рассказа, драмы, поэмы и др.). Так, ряд авторов считает вообще невозможным установить отличительные признаки, существующие между историческим романом и другими смежными разновидностями романа. По их мнению, эта невозможность проистекает оттого, что спустя два-три десятилетия после создания произведения оно автоматически становится историческим, поскольку будучи современным для своего поколения, неизбежно приобретает исторический характер для последую-

щих поколений. Такая точка зрения является ошибочной. Смена эпох не способна повлиять на специфику художественных произведений. Сколько бы времени ни прошло, своей специфики не утратят ни психологические романы Достоевского, ни социальные романы Бальзака, ни исторические романы Вальтера Скотта. Помимо этого, никакая степень сложности проблемы не может явиться достаточным аргументом в пользу прекращения ее исследования. Наука, изучающая наиболее общие закономерности художественной литературы, не может отказаться от изучения одного из таких важных теоретических вопросов, как специфика исторического романа.

Ряд авторов считает, что для установления факта историчности романа следует учитывать дату рождения писателя. Так, они утверждают, что если в романе (рассказе, драме, поэме и др.) описываются события, происшедшие до рождения автора, мы имеем дело с историческим романом, если же текущие события — то с современным романом. Это неверно, поскольку сущность того или иного явления заключена внутри самого явления, а не за его пределами — даты жизни и смерти писателя суть внешние по отношению к художественному произведению факторы.

Для уяснения содержания понятия «исторический роман» необходимо в первую очередь установить отношение понятия «историческое» к понятию «прошлое». Действительно, в большинстве случаев в исторических романах (рассказах, драмах, поэмах и др.) изображены события, происшедшие в прошлом, однако здесь понятия «историческое» и «прошлое» не совпадают по своему содержанию. На наш взгляд, в понятии «исторический роман» часть, определяющая специфику понятия, — «исторический» — служит не для обозначения событий, происшедших в прошлом, а для обозначения событий, имеющих историческое значение.

Таким образом, понятию «исторический роман» должно быть дано следующее определение: исторический роман (рассказ, драма, поэма и др.) — роман, изображающий события, которые приобрели в сознании нации историческое значение.

Преимущество такого определения в том, что оно не ограничивает сферу действия исторического романа одним прошлым. Нередко и в современной автору действительности происходят исторически значимые события. В качестве аргумента приведем классический пример. Автор «Мученичества Шушаник» был свидетелем события большой исторической важности. Мы имеем в виду героическое деяние грузинской царицы, пожертвовавшей собой ради веры и отчизны. Разумеется, сходные явления могут наблюдаться в любой сфере человеческой деятельности и в любую эпоху. На примере «Мученичества Шушаник» видно, что писатель может «по горячим следам» художественно отобразить современное ему событие, обладающее общенародным, историческим значением.





**Е**ЩЕ будучи школьницей Ирэна Сергеева познакомилась со сборником «Песни народов СССР» в переводе Андрея Глобы. Ее внимание привлекла народная поэзия Грузии. Потом в ее жизнь вошли стихи Шота Руставели, Важа Пшавела, Галактиона Табидзе. По книгам знакомилась с Грузией, посещала выставки, смотрела кинофильмы, выступления грузинских артистов, вскоре выучила и алфавит, а в 1962 году приехала в Грузию. Здесь впервые услышала грузинскую речь в ее живом движении, в хоре голосов тбилисских улиц, чтобы потом написать:

Как прекрасна грузинская  
речь!  
Слаще меда, вина, молока!  
Станет слух мне ласкать  
и беречь  
Золотая Табидзе строка.

Не следует думать, что Ирэна Сергеева сразу занялась переводческой деятельностью. Нет, переводы были потом, а вначале — стихи. «Грузия, — вспоминает И. Сергеева, — обрушила на меня массу впечатлений: кипящие жизнью тбилисские улицы, краски мастерских художников в,

Бесик ПИПИЯ

«ТБИЛИСИ!  
Я ТОБОЙ  
КЛЯНУСЬ!»

прихотливые узоры песен и танцев, гостеприимные многолюдные застолья».



Город горный,  
город старинный!  
Друг мой гордый,  
гостеприимный!

Ты и принял меня,  
и понял.  
Я — песчинка  
в твоих ладонях.

\* \* \*

А волшебник, а Пиросмани,  
все покоя мне не даст —  
то печально меня поманит,  
то тревогой во мне забьет!

Эти и десятки других стихотворений и составили первый поэтический цикл «Гость». Сегодня назвать поэтессу гостем Грузии, конечно, нельзя. Ирэна Сергеева вот уже двадцать лет словом своим неизменно служит Грузии, дружбе с ней.

Читая стихотворения поэтессы, нельзя не проникнуться ее искренностью и задушевностью, глубиной чувства, которое она умеет так лаконично и выразительно передать. Поэтесса делится с читателем своими ощущениями и наблюдениями, как бы привлекая его в соавторы, вынуждая домыслить то, что таится между строк.

Нарисуй акварель  
про апрель,  
отчекань мне  
декабрьские листья,

и, мерцая глазами,  
Тбилиси,  
в мою первую верность  
поверь.

У Сергеевой много стихов о романтической природе Грузии, о жизни ее села, таких, как, например, «В Кахетии осень была...»:

...Она обнимала меня  
в садах предпоследнего цвета  
теплей, чем в России родня,  
нежней ленинградского лета.

Любовью выписаны этнографические подробности, впечатления поездок по многим уголкам республики, портреты крестьян: женщины «с лицом иконным, в вечно траурном платке», «крепкоплечего кахетинца в черной шапочке своей», «хевсура, охотника и воина» — все это отражено автором с глубокой правдивостью и точностью.



Много стихов о Тбилиси. Это не просто взволнованные поэтические строки, это — объяснение в любви:



Не плачь, Тбилиси, я вернусь!  
Сотри дожди с лица и с улиц!  
Все, кто любил тебя, вернулись,  
их словно помнят наизусть.

Шло время, но тема Грузии в творчестве И. Сергеевой не иссякала. И в новой книге «Ветер в городе» ей посвящен целый поэтический раздел. Поэтесса расширяет свой поэтический диапазон, глубже вникает в каждую деталь. Тема Грузии раскрывается полнее. Сказались опыт и наблюдения, которые накапливаются с годами.

В ряде стихов новой книги угадываются мотивы грузинских народных песен. Например, «Черный дрозд скользил по веткам» — за этой строкой слышится песня «Черный дрозд». А за строкой стихотворения «Весна» — «Черная ласточка Нани, не улетай...» мы слышим первую строку народной песни «Лети, черная ласточка». В стихотворении «Мингрельская колыбельная песня» есть строки:

Иав-нана, мальчик Бая...  
Баю-баю.  
Спи! Тебе приснится птица  
голубая...

...Спи, мой светик,  
цветик, лютик  
златоглавый!

Для того, чтобы так написать, нужно знать, что мингрельские дети зачастую рождаются золотоволосыми и что их в детстве часто зовут Бая, что означает лютик.

В сборнике «Ветер в городе» есть портреты грузинских тружеников: здесь и металлург из Рустави, и ремонтник тбилисского метро, и рабочий, возвращающийся с ночной смены. Наконец, в стихотворении «Старый Тбилиси» возникает собирательный его образ.

Все эти образы подкупают не поверхностным, а подлинным знанием народной жизни, национальных традиций. Они настолько убедительны, что трудно поверить, что их автор — русская поэтесса. А весь секрет в том, что она любит

Грузию. И Грузия отвечает взаимностью поэтессе из города на Неве. И рождаются стихи:

**Тбилиси! Радость ты и грусть!..  
За что меня ты возвышаешь?  
Один меня ты утешаешь,  
Тбилиси! Я тобой клянусь!**

Поэтесса широко пропагандирует творчество грузинских поэтов, выступая с переводами Галактиона Табидзе, Терентия Гранели, Виктора Габескирия, Мориса Поцхишвили, Реваза Маргиани, Мухрана Мачавариани, Джансуга Чарквиани в библиотеках и на заводах, в Доме писателя и во Дворцах культуры. Она пишет статьи о грузинских певцах, об этнографических и художественных выставках. Людям искусства Грузии посвящены ее очерки «Воспоминания о Тбилиси» и рассказы «Тбилисские зарисовки». Ирэна Сергеева также рецензирует произведения грузинских авторов и на страницах журнала «Звезда», где она работает, участвует в составлении грузинских поэтических подборок.

Словом, когда заходит речь об Ирэне Сергеевой, то в первую очередь о ней говорят как о человеке, любящем и знающем Грузию. Поэтому, наверное, издательство «Современник» обратилось с просьбой именно к ней, быть составителем книги, посвященной 200-летию Георгиевского трактата. Сборник «Двойная радуга» знакомит читателя с русской и грузинской поэзией с конца XVIII века по наши дни. Среди авторов — А. Пушкин и А. Грибоедов, В. Маяковский и Н. Заболоцкий, А. Тарковский и Е. Евтушенко, Д. Гурамишвили и Н. Бараташвили. И. Чавчавадзе и Г. Табидзе, Г. Леонидзе и Х. Гагуа. В книгу входят также отрывки из прозаических произведений таких мастеров как К. Паустовский, Л. Леонов, Н. Думбадзе, Ч. Амирэджиби и другие. Сборник призван познакомить читателя с литературой Грузии и России в их единстве, сходстве и своеобразии.





Вилли КАЧАРАВА,  
Председатель Госкомприроды ГССР

## С ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЗИЦИЙ

**О**ХРАНА окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов являются острой проблемой нашей современности, которая в условиях грандиозных масштабов и темпов развития производительных сил со всей настойчивостью заявила о себе. На декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС было особо отмечено, что это задача большой экономической и социальной значимости, поскольку речь по существу идет о здоровье людей и о бережном, хозяйском подходе к национальному богатству страны. Об этой проблеме говорилось на Пленуме как о проблеме будущего, от решения которой зависят условия, в которых будут жить последующие поколения.

Государственный комитет Грузинской ССР по охране природы был создан одним из первых в стране в ответ на постановление Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных богатств», принятое в сентябре 1972 года, и постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», принятое в январе 1973 года.

Позади почти десять очень трудных лет, полных серьезных испытаний, боев с ведомственным угаром, поиска новых путей.

Сегодня мы уже охотно делимся опытом работы с коллегами из других братских республик, где такие комитеты только-только создаются. Нами изучены сотни вопросов. Материалы, представленные на рассмотрение правительства, превращались в распоряжения, постановления, обретали силу закона.

Главной нашей мишенью были косность, ведомственность, порочный принцип: «на наш век хватит, а после нас — хоть пестоп».

За эти годы всякого рода нарушители законов, охраняющих чистоту окружающей среды, предупреждались, подвергались штрафам, десятки заводов, фабрик, строек, цехов были временно закрыты.

Все четче осуществлялся контроль, который с каждым годом расширял сферу действия, ускорял проведение профилактических природоохранных мероприятий.

По инициативе Госкомитета во многих министерствах и ведомствах республики созданы специальные службы охраны природы.

Накоплен большой опыт по проведению республиканских, союзных, международных и межправительственных природоохранных слетов, конференций, симпозиумов. Каждое из этих мероприятий вызывает широкий отклик и живой интерес общественности.

Госкомитетом издана экологическая литература десяти наименований. По нашим заказам снято восемь художественных фильмов.

По инициативе Госкомприроды композитором Ш. Милова и поэтом М. Поцхишвили создан «Гимн природе».

Вышла в свет долгожданная «Красная книга Грузинской ССР».

Вообще наши встречи, совместные пленумы и сессии с работниками кино и театра, союзами писателей, композиторов, архитекторов, художников стали хорошей традицией и приносят замечательные плоды.

Многие директора промышленных и сельскохозяйственных объектов изменили отношение к вопросу охраны природы и, главным образом, под воздействием общественного мнения.

Нам часто говорят, что надо ужесточить требования к нарушителям закона об охране природы. Необходимость всеми мерами сохранять природу и ее богатства многими пока еще не осознана, в том числе, к сожалению, и некоторыми руководителями. Нужно ускорить процесс осознания такой необходимости, а пока, обращаясь к совести и разуму, можно сказать, что виноваты мы все.

Еще не так давно мало кто знал даже слово — экология. Сегодня нам необходимо пересмотреть некоторые понятия, к которым мы привыкли с колыбели, приспособить их применительно к новым условиям. Глубокие, прочные знания, высокий профессионализм — вот что может вытеснить недоверие к нашим службам.

С глубоким пониманием, с постоянным интересом отно-



ся Центральный Комитет Компартии Грузии и Правительство республики к проблемам охраны природы, к дальнейшему развитию нашей службы.

Однако нам не пристало обольщаться достигнутым. Мы не занимаемся в достаточной мере вопросами планирования природоохранных мероприятий. Недостаточно умело используем предоставленные нам большие права, порой не проявляем должной принципиальности, недостаточно умело и оперативно взаимодействуем с другими природоохранными службами.

Экологическая ситуация в республике чрезвычайно сложная. Взять хотя бы землю. В народе говорят «не та земля дорога, где медведь живет, а та, где курица скребет». Последней в нашей малоземельной республике становится все меньше и меньше. Вот какие проблемы волнуют нас сегодня — рекультивация земель, вопиющие беспорядки в деле добычи инертных материалов, хранения и применения ядохимикатов и минеральных удобрений, борьба с паводками, эрозией почв и другими стихийными явлениями природы, проблемы, связанные с орошением и осушением земель, освоением засоленных, солонцовых площадей, отводом земель для строительства, хранением и использованием плодородного слоя почвы, применением пустых пород и других отходов производства, разумным использованием пастбищ, земель с уклоном свыше 15 градусов и т. д.

Всю эту огромную работу, только, к сожалению, разрозненно, ведут соответствующие ведомства, научные и проектные организации, природоохранные органы. Однако результаты этой работы оставляют желать лучшего.

Такое же множество проблем возникает в деле охраны и использования водных ресурсов, воздушного бассейна, лесов, флоры и фауны, разумного использования сырьевых ресурсов, использования отходов и т. д.

Как известно, по предложению ЦК Компартии Грузии, руководство Добровольного общества охраны природы сосредоточено в руках председателя Госкомитета по охране природы: одна задача, одни цели. В настоящее время готовится совместное постановление ЦК и Совета Министров Грузии по осуществлению дополнительных мер с целью коренного улучшения работы нашего Общества.

Наряду с природоохранной пропагандой, просвещением и образованием необходимо наладить производство продовольствия, торговлю им. Это совершенно новый подход к решению проблем природопользования.

Госкомприроды вместе с Обществом стремится всеми силами поднять население на борьбу за охрану природы, привить людям чувство любви и уважения к природе в каждой повседневной жизни.

Тут следует отметить, что после того, как проведение республиканских слетов стало традицией, число друзей — заступников природы заметно возросло.

Конечно, каждый сознательный, образованный, истинно интеллигентный человек должен в какой-то мере, в силу установившейся привычки, «по велению души» проявлять заботу о родной природе. Однако «комаги» — это несколько другое понятие. Тот, кто отвоевал хоть небольшой клочок земли у людей, загрязняющих ее, кто спас от порубки пусть даже маленькую опушку леса, кто на деле, а не на словах, постоянно борется с загрязнением воздуха, воды, почвы, тот, кто своими руками создает парки, скверы, сады, аллеи, леса, новые ландшафты, пруды, родники, спасает от загрязнения реки, озера, от разрушения — пляжи, берега рек, смело борется с браконьерами, любыми нарушителями закона об охране природы, с порочной ведомственностью — этим серьезным врагом окружающей нас среды, кто постоянно воспитывает людей в духе любви и уважения к природе, тот, кто поставил на службу природе науку, литературу, искусство, среднюю и высшую школу, наконец, тот, кто своим личным примером ведет за собой людей и способствует развитию мощного природоохранного движения в республике, — это и есть подлинный друг и заступник природы или, как принято его у нас называть, «комаги».

Много добрых слов об этих замечательных людях было сказано на Втором республиканском слете друзей — заступников природы. Многие «комаги» были его участниками и щедро делились опытом, рассказывали о том, как они собственными руками создавали новые ландшафты, аллеи и сады, парки и скверы, теплицы и питомники, пруды и родники, спасали от браконьеров лес, дикую фауну, рыбу, птиц, от загрязнения земли и воду, выступали в качестве пламенных пропагандистов, воспитателей и просветителей в области охраны окружающей среды.

Мы не склонны преувеличивать значение подобной деятельности любителей природы, это, на наш взгляд, — гражданский долг и обязанность каждого культурного человека.

Говоря о заступниках природы, мы никогда не забываем



академиков Нико Кецховели, Василия Гулисашвили, Феофана Давитая.

Ученые с большим именем, они буквально преображались, когда речь заходила о природе, когда кто-то, независимо от ранга и положения, покушался на природу, грубо попирает законы об охране природы. Тогда эти сдержанные люди становились грозными, суровыми и непреклонными. Нарушители не раз испытывали на себе их благородный гнев.

Именно такими принципиальными, настоящими бойцами мы хотим видеть всех друзей — заступников природы, которым есть с кого брать пример.

Сейчас, на десятом году существования комитета, нам следует лучше владеть экологической ситуацией, быть требовательнее и бдительнее при рассмотрении вопросов, связанных с разумным использованием материальных ресурсов и природных богатств, научиться лучше считать, переводить в экономические показатели ущерб, нанесенный нарушением равновесия в природе, лучше планировать охранные мероприятия, уметь предвидеть, предугадывать последствия ожидаемых или предполагаемых экологических изменений. Таким мы видим завтрашний день нашей службы.

Не вызывает сомнения, что единая государственная природоохранная служба имеет большое будущее. Это — служба не столько сегодняшнего, сколько завтрашнего дня, но именно поэтому поддерживать и умело, энергично развивать ее надо именно сегодня. И не случайно широкая общественность как у нас в республике, так и в стране, требует ужесточить борьбу с нарушителями природоохранного законодательства. Все чаще в республиканской и союзной прессе появляются статьи и письма людей, не связанных ведомственными интересами, которые, объективно размышляя о перспективах развития природоохранного дела, приходят к выводу о необходимости создания мощного природоохранного органа в масштабе всей страны. Видимо, так оно в ближайшее время и будет.

На декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, что, несмотря на серьезные усилия, которые предпринимаются, острота проблемы не снимается с повестки дня.

Это говорит о том, что нужно более настойчиво и целеустремленно проводить работу по охране природы. Здесь, пожалуй, как ни в какой другой сфере, нетерпим ведомственный подход. Он резко снижает эффективность использования капитальных вложений, препятствует проведению единой полити-

ки в осуществлении природоохранных мероприятий, порождает решения, не учитывающие экологические последствия, ведет к мнимой экономии, которая в конечном счете оборачивается большими потерями. Словом, нужно подходить к этой проблеме комплексно, с общегосударственных позиций, решительно улучшить всю систему управления и контроля за состоянием окружающей среды.

Сегодня уже можно сказать, что у нашей молодой службы есть свои традиции, собственный почерк. Движению дан мощный толчок.

Хочется привести слова Ильи Чавчавадзе, сказанные им при открытии сельхозшколы в Сагурамо: «Наш благодатный край несравненно обильнее многих других стран своими естественными богатствами. При всем том, мы не дурны собой, народ наш крепок, силен, красив, не лишен благородных поступков. Страна наша — нарядна, как богатая невеста. Народ трудолюбив... «Отчего же мы бедны!» — спросите вы? От того, что мы не знаем где какое богатство лежит, где какой зарыт клад... У нас не хватает того, что срывает завесу с недр земли, ведет человека к этим недрам и с точностью указывает, где какое зарыто сокровище и какими средствами легче его черпать...»

Как поучительны эти слова и сегодня для нас, работников природоохранных служб, для хозяйственников, ученых, геологов...

Вспоминаю прискорбный случай. Год назад в Ванском районе группа геофизиков вела поисковые работы. После одного из очередных взрывов вспыхнул фонтан нефти. «Нефть, нефть пошла!» — с радостью бочичали очевидцы. Однако оказалось, что эти гореспециалисты, не зная, говоря словами Ильи Чавчавадзе, «где какое богатство лежит, где какой зарыт клад», взорвали главную магистраль нефтепровода Самгори-Батуми, в результате чего были потеряны десятки гектаров земли.

А однажды специалисты по недрам в своих стараниях зашли так далеко, что требовали начать добычу меди даже на территории такого уникального заповедника, как Лагодехский.

Нет разных дорог для воды, будь то ручеек или река, — все пути рано или поздно приведут их к морю, океану и снова... к земле. Наша задача — не мешать этому извечному круговороту жизни, а помочь, сделать его еще более активным, результативным.



**КОГДА** в классе объявили, что все желающие могут записаться в школьный хор, вместе с другими и я поднял руку. И вовсе не потому, что у меня были незаурядные музыкальные способности — просто членов хора три раза в неделю освобождали с двух последних уроков. А для мальчишки - семиклассника это была вполне достойная компенсация.

Я и сейчас хорошо помню первую песню, которую разучил с нами наш хормейстер Анзор Эркомаишвили: «გაზაფხულა. ბუჩქის ძირას თავს აწონებს ნაზი ის»<sup>1</sup>.

Затем мы перешли на народные песни. «ნამგალო, ჩემო რკინაო»<sup>2</sup>, — с грехом пополам тянул я вместе со всеми, все больше убеждаясь, что и для меня и для хора было бы лучше, если б те два урока я не пропускал.

Так или иначе, месяца полтора я кое-как прозанимался в хоре, а потом и это надоело мне, как раньше шахматы, танцы, скрипка... Конечно, сейчас я горько сожалею, но увы!

<sup>1</sup> Настала весна. Под кустом красуется нежная фиалка.

<sup>2</sup> Серп, ты мое железо.

Паата НАЦВЛИШВИЛИ

## ВНУК

Перевод Татьяны  
ДАТУКИШВИЛИ

Спустя лет пятнадцать после моей неудавшейся попытки приобщения к песне Анзор Эркомашвили сказал мне как-то, что около половины людей вообще лишены песенного дара.

К сожалению, я оказался именно в этой половине человечества, но поверьте, вы, люди из той половины, что удивительная сила и таинственное волшебство песни — этого недосягаемого и недостижимого феномена — ощущаются всеми.

Будучи учеником я не знал, что Эркомашвили — известная музыкальная фамилия. Собственно, не только мне, но и людям старшего поколения эта фамилия ни о чем не говорила.

— После возвращения из армии из-за материальных затруднений я решил поработать в школе, — вспоминает Анзор Эркомашвили. — Но меня никуда не принимали... Перечислялись авторитетные имена, работавших в школе до меня: как же мы теперь студента возьмем? Хорошо, что директору первой школы Николозу Киквадзе моя фамилия показалась знакомой, он слышал о моих предках — и принял меня на работу. Я хорошо помню, как он сказал Севериану Кашия, завучу, что человек с такой фамилией непременно справится...

Через несколько месяцев на Олимпиаде художественной самодеятельности школьников хор тбилисской первой средней школы поразил всех уже только тем, что в его репертуар вошли сложные народные песни. Конечно, победу присудили этой школе, но победа победе — рознь! Если остальным победившим хоровым коллективам присуждалась одна общая золотая медаль, то в данном случае такую медаль вручили персонально каждому члену хора первой школы...

— Это была моя первая попытка обучить детей грузинским народным песням, — говорит Анзор Эркомашвили. — Конечно, хор исполнял и обязательную программу — различные праздничные марши, произведения грузинских композиторов для детей, но, в основном, все-таки репертуар состоял из грузинских народных песен, которые и обусловили победу хора первой школы на Олимпиаде.

В этой школе Анзор Эркомашвили преподавал еще два или три года. А потом окончил консерваторию и его направили на работу в Рустави.

Недавно вышла книжка народного артиста республики Анзора Эркомашвили «Дедушка». Книга эта написана на зависть многим литераторам, хотя хормейстер впервые предстал



в роли писателя. Мы не раз будем обращаться к этой книге Анзора Эркоманшвили, цитировать ее, так как многие интересные для нас факты или мысли здесь великолепно изложены автором.

«Когда мы приблизились к могилам Гиго, Гиорги и Луки, дедушка попросил Иракли принести чемодан, достал оттуда патефон, поставил его между могилами Гиго и Гиорги и завел пластинку, напетую еще в 1907 году.

«Будь другом, Гиго Эркоманшвили, давай-ка старую «Швидкацу», — послышалось из патефона и к голосам Гиго и Луки присоединился необычайно высокий, удивительно красивого тембра голос Гиорги.

Песня лилась. Люди, застыв, слушали этих удивительных певцов. Справа от нас с треском догорал стог колючей травы. Пламя взвивалось к вершине горы. Солнце перекатилось из-за гор и медленно сползало в Черное море. В руке я держал наполненный «изабеллой» стакан и сквозь него смотрел на заходящее солнце, которое окрасилось в цвет вина. На могилах Гиго, Гиорги и Луки горели свечи. Они спали спокойным сном, но их голоса прорывались сквозь десятилетия и постепенно стирали грань между жизнью и смертью.

А по другую сторону, над Шемскмедским монастырем встали тени старых певчих Варлама Симонишвили, Антона и Давида Думбадзе и в деревню потихоньку полилась старая «швидкаца». Сначала песня перекрыла треск огня, а затем и шум мчащихся в Батуми машин и рев взмывшего в небо самолета».

Гиго Эркоманшвили был лучшим исполнителем гурийских песен. Он стоял у истоков создания ансамбля, в который входили: Гиорги Бабилодзе, Ивлиане Кечакмадзе, Гиорги Иобишвили, Нанико Бурдзгла, Эрмиле Моларишвили, Лука Тоидзе и 20-летний сын Гиго — Артем — дед Анзора Эркоманшвили. В 1907 году одна иностранная фирма записала в Тбилиси несколько песен в исполнении этой гурийской группы. Именно эти записи через многие десятки лет прокрутил на могилах Гиорги, Гиго и Луки Артем.

В 1929 году ансамбль пригласили в Ленинград. Тогда Гиорги Бабилодзе было 95 лет, Гиго Эркоманшвили — 90. На одном из концертов присутствовал Ромэн Роллан.

Артем Эркоманшвили вспоминал:

«Ромэн Роллан очень нами заинтересовался и задал мне множество вопросов. На прощание он попросил, чтобы мы спели ему «эту удивительную «хасанбегуру», и, когда мы закончили петь, сказал: «Счастливы тот край, где живут такие люди, и счастливы те люди, у которых есть такие песни».

Известно, что Ромэн Роллан был и музыкальным эрудитом...

Жизнь и творчество Гиго Эркомаишвили — более чем значительное звено в многовековом процессе развития грузинской народной песни. А ведь была опасность, что это звено навсегда выпадет из общей цепи — маленький Гиго чудом избежал продажи татарам. Муж его воспитательницы Наоса Иорашвили подросел как раз в тот момент, когда их сосед, некто Котиа Цецхладзе уже договаривался с аджарцами о цене.

Женой Гиго была Эгвита, сестра другого известного певца Гиорги Бабилодзе, которая родила ему десятерых детей. Трое из них — Артем, Анания и Владимир — стали широко известными по всей стране певцами.

«В Грузии нет счета певцам, но такие исполнители гурийских песен, какими были братья Эркомаишвили — редкость».

Единственный сын Артема — Датико — отец Анзора Эркомаишвили в 1954 году погиб в аварии. А двадцать лет назад...

— На проводившейся в 1934 году Закавказской Олимпиаде художественной самодеятельности вместе пели 95-летний Гиго, 50-летний Артем и мой отец, которому было 11 лет, — вспоминает Анзор. — Сохранились фотография и запись их голосов. Отец поет «криманчули». Полтора года назад кинорежиссер Шалва Хомерики сказал мне, что он запечатлел на пленке то выступление моих предков и даже пообещал привезти эту пленку из Москвы. К сожалению, Шалва Хомерики вскоре скончался, не успев выполнить своего обещания, но раз эта пленка существует, надеюсь, что я ее найду.

Как и полагается по семейной традиции, маленький Анзор Эркомаишвили впервые выступал вместе с дедушкой и отцом.

«Вспоминается мое первое концертное крещение, которое навсегда останется в моей памяти. Я не смог поддержать их слившиеся воедино голоса, сбился с тональности, остановился и стоя на стуле сказал дедушке: «Деда, я осибся», чем вызвал искренний хохот и овацию зрителей.

— Нет, это мы ошиблись, — успокоил меня дедушка, —



давай-ка начнем еще раз и больше не ошибемся, — сказал он ласково.

Мы начали сначала и, действительно, уже не ошибались до конца.

С этого момента я помню своего дедушку, с этого момента он сопровождает меня по жизни как предок, воспитатель, друг, учитель и настоящий мужчина. Он будет со мной до конца, и хочу во весь голос заявить, что все, что есть во мне хорошего — заслуга моего деда.

В последнее время на страницах грузинской прессы не раз затрагивалась проблема возрождения и дальнейшего развития грузинских народных песен. В частности, ставился вопрос о необходимости изучения элементарных основ грузинского песенного фольклора на уроках пения в средних школах. К сожалению, в этих дискуссиях не принимал участия Анзор Эркоманишвили, человек, который мог сказать больше всех, вносящий сегодня самую значительную лепту в то дело, о котором участники дискуссии говорили как об обязательном условии сохранения грузинской народной песни. Но многое из того, что мог бы сказать Анзор Эркоманишвили, будь он участником вышеупомянутой дискуссии, он изложил в одном довольно обширном документе — письме, адресованном в свое время первому секретарю Махарадзевского райкома Компартии Грузии.

«Грузинская народная песня получила признание во всем мире. Особо нужно отметить гурийские песни, которые можно считать уникальными.

Эти песни были тесно связаны с бытом, поэтому в течение веков формировались песенные традиции и песня стала неотъемлемой частью жизни каждого грузина.

Раньше человека, который умел петь, высоко ценили, он занимал почетное место в народе и вообще считался общественным деятелем. Поэтому петь учились все. В Гурии много лет назад была основана народная песенная школа. Эту школу прошли многие выдающиеся певцы. Достаточно назвать имена последних ее представителей — семейств Думбадзе, Чавлеишвили, Симонишвили, Эркоманишвили и других, — чтобы стало ясно, в каких руках находилось в Гурии песенное искусство. Деятельность их развернулась в Озургети, где задавался тон всей Гурии и где рождались многие хорошие начинания.

Сейчас в Махарадзевском районе, как и в других районах Грузии, народная песня находится на пути вырождения. И это несмотря на то, что для популяризации народных песен делается немало как в общесоюзном, так и в международном масштабах, хотя здесь же следует признать, что один, два и даже несколько коллективов не в состоянии справиться с такой задачей. Недалек тот день, когда поколение, знающее старинные народные песни, уйдет от нас, и тогда мы окажемся в трудном положении. Уже сейчас в Гурии остались считанные единицы исполнителей «криманчули».

В Гурии всегда было много поющих семейств, в которых вместе с другими семейными традициями от поколения к поколению как фамильная реликвия передавались песни. Многие песенные традиции насчитывают века.

В Озургетском уезде всегда было множество маленьких ансамблей из 3—4 или 6—7 человек, чьи песни еще в 1907 году записала иностранная фирма и которыми и сегодня восхищаются слушатели. Творческие соревнования между этими ансамблями приводили к развитию песни и шлифовке ее до уровня виртуозного исполнения.

Сейчас почему-то все заинтересованы в создании больших (до 200 человек) хоров, чей репертуар не очень-то богат народными песнями. Эти коллективы возникают, как правило, в связи с какими-то мероприятиями и с их окончанием прекращают свое существование. По-моему, в таких условиях о высоком уровне мастерства и речи быть не может. Было бы гораздо лучше создать постоянно действующие маленькие ансамбли и возродить поющие семейства, которые надолго сохраняют народные песни.

Раньше в Гурии большой популярностью пользовался чонгури. Под виртуозный аккомпанемент этого великолепного инструмента пели знахарские, шуточные и лирические песни. Чонгури в семье был необходимым предметом, дорогим памятным подарком, обязательным компонентом приданого.

В одно время в Махарадзе по инициативе хорового и хореографического общества была создана специальная школа, которая должна была готовить хормейстеров. На эту школу возлагались большие надежды, однако работа в ней пошла не по тому руслу. Школа прекратила свое существование, а подготовленные там кадры сейчас либо поют в ансамблях, либо работают по другой специальности.

В связи с вышеизложенным для возрождения народной песни и песенных традиций считаю необходимым принять сле-



дующие меры: создать центр по возрождению старинных гурийских песен; ансамблю молодых хормейстеров (рук. — Вл. Эркоманшвили) создать подходящие рабочие условия, ибо это начинание очень нужное и своевременное; в кратчайшие сроки возобновить работу школы по возрождению старинных гурийских песен, ее выпускники должны быть направлены в села и работать там соответственно своему профилю; в семьях певцов следует провести специальную работу для возрождения их песенных традиций; руководители различных ведомств должны создать условия для организации маленьких ансамблей, которые будут исполнять только старинные песни; создать кабинет звукозаписи и библиотеку с уникальными записями старинных гурийских певцов, что даст возможность молодым услышать различные вариасы песни и поможет выбрать правильную песенную манеру; открыть мастерскую, которая будет изготовлять старинные чонгури, в репертуар всех коллективов ввести песни под аккомпанемент этого инструмента; особое внимание обратить на музыкальное воспитание, ввести в музыкальных школах обязательное изучение народных песен, а в средних школах создать песенные группы за счет уроков пения, которые почти везде проводятся формально; при хоровом и хореографическом обществе открыть специальную детскую студию, где будут изучаться лишь гурийские песни; проводить конкурсы в районном масштабе, в которых примут участие маленькие ансамбли, семейства певцов и индивидуальные исполнители на чонгури. Для победителей учредить специальные призы в честь известных народных певцов (например, имени Самуэла Чавлеишвили, Варлама Симоишвили, Артема Эркоманшвили и др.). Прессе, радио и телевидению развернуть широкую пропаганду этого патриотического начинания. Для победителей следует учредить специальные призы, что станет стимулом в дальнейшей работе ансамблей.

Думается, что осуществление вышеизложенных мероприятий поможет возрождению старинных песен в Гурии. Наши дети вместе с азбукой должны изучать народную музыку. Это поможет сохранить те песенные традиции, которые так далеко прославили грузинскую культуру, наш народ».

К чести Махарадзевского райкома партии нужно сказать, что это письмо Анзора Эркоманшвили не осталось без внимания, и вскоре были сделаны первые практические шаги в деле возрождения гурийских песенных традиций.

Когда я ознакомил Анзора Эркоманшвили с опубликованными в нашей прессе материалами, в которых высказывались предложения ввести в школах изучение грузинских народных песен, и попросил прокомментировать их, он в первую очередь показал мне вышеприведенное письмо и затем добавил:

— Я расскажу вам о своей жизни, своем музыкальном образовании, и по ходу рассказа интересующие вас проблемы выявятся сами собой.

— Петь в школе нас учили преподаватели физкультуры или рисования, то есть педагоги, у которых была наименьшая часовая нагрузка. Когда сегодня я задумываюсь над этим фактом, каждый раз убеждаюсь, что было бы, наверное, гораздо лучше, если в Гурии рисованию и физкультуре обучал бы учитель пения. Где-где, а в Гурии найти такого не составляло никакого труда.

Анзор Эркоманшвили был освобожден от уроков пения вместе с Тристаном и Лулу Сихарулидзе, Джемалом и Джумбером Чкуасели. Все они были из знаменитых певчих семейств, еще дошкольниками выступали на детских олимпиадах, обладали многочисленными призами, и учителям физкультуры и рисования было стыдно проводить уроки пения в их присутствии.

До войны в Гурии в школах пению учили известные церковные певчие. Потом были приняты новые программы, согласно которым обязательным условием стало изучение песен советских и зарубежных композиторов. Оказалось, что удовлетворить требованиям новой программы не смог даже такой известный хормейстер, каким был Варлам Симонишвили. Вот и получилось, что с того момента разом отошли от школы люди, создавшие целую школу народной песни. Сегодня вместо них преподают выпускники консерватории, которые несомненно хорошо разбираются в нотах, знакомы с творчеством советских и зарубежных композиторов, но с грузинскими народными песнями они, мягко говоря, не в ладах. Было бы еще полбеда, если бы мы имели сборники народного песенного фольклора для школьников. Для выпускника консерватории не составило бы труда обучить детей азбуке народной песни по такому сборнику, но, к сожалению, у нас и этого нет.

Анзор Эркоманшвили не собирался стать профессиональным музыкантом — его больше привлекали профессии инженера или журналиста (каким он мог быть журналистом, вид-



но по его книге!). Однако дедушка его хорошо понимал, что в мире нет недостатка ни в инженерах, ни в журналистах..

«У нас не было возможности получить музыкальное образование — другое время было. Сейчас, детка, старое поколение певцов ушло, да и мы потихоньку уходим. А эти песни надо сохранить, им хозяин нужен, защитник... Молодежь все это мало интересуется... Вот ушли от нас Варлам Симоишвили и Дмитри Патарава, великолепные певцы, наша гордость, и теперь только я сохраняю то богатство, которое ни на деньги не купишь, ни золотом не измеришь. Тебе пока не понять цены этому богатству, ничего похожего не сыскать во всем мире. Если со мной что-нибудь случится, я унесу с собой такое сокровище, утрату которого народ нам никогда не простит, и тяжесть этого греха ляжет на нашу совесть. И знай: это не только мое или твое дело, это общее дело. Гурийская песня у тебя в крови, поэтому ты больше всех здесь можешь помочь, если получишь музыкальное образование. Помню, в Ленинграде известнейшие музыканты не смогли расшифровать наши песни. Тогда они предложили обучить нас нотам — лучше них самих, мол, никто не сможет записать эти песни. Тогда это так и не удалось осуществить. Это должен сделать ты. А для этого необходимо получить музыкальное образование.

Когда будучи уже студентом консерватории, я приехал в деревню на каникулы, дедушка с нетерпением спросил, смогу ли я, наконец, переложить на ноты церковное песнопение. Думаю, что смогу, ответил я. Мы проработали весь день, чтобы перенести на нотную страницу небольшую песню. Это было «Рождественское песнопение», полифоническое и гармоническое богатство которого поразило и восхитило меня — ничего подобного в жизни я не слышал!

Вот, оказывается, о каких песнях говорил мне дедушка...

После революции, в период отделения церкви от государства, перестали исполнять церковные песни. Певчие скрывали, что когда-то пели в церквях, а об обучении их песням и речи не могло быть. Из старых певчих в живых оставался только Артем, который знал все голоса всех церковных песен Западной Грузии. Вот почему так встревожился Артем, когда возникла угроза утраты этих песен.

Так началась наша работа по возрождению утерянных песен и хоралов. Уже в первое лето благодаря редкой памяти дедушки, я записал их около 60 (а всего, если верить книге,

Артем Эркомаишвили знал только церковных песнопений около 2000! — П. Н.). Он так радовался, что похвастался певцам: мы, мол, с внуком сделали дело, самое грандиозное в жизни.

Когда после каникул дедушка провожал меня в Тбилиси, он попросил, чтобы я попробовал обучить этим песням ребят из консерватории».

До консерватории Анзор Эркомаишвили окончил тбилисское культпросветучилище, так как без элементарного музыкального образования в консерваторию его, конечно, никто бы не принял. Вместе с ним на хоро-дирижерском отделении обучались вокалисты, которые в силу различных обстоятельств в свое время не смогли получить профессионального музыкального образования. Многие из них в дальнейшем стали известными хормейстерами — Темур Кевхишвили, Юза Кублашвили, Мурман Берулава, Сулико Авжантадзе, Роланд Хатиашвили, Гиви Бахтадзе, Амиран Голиадзе, Заур Худжадзе, Джемал Челидзе. Вместе с Анзором учились его односельчане, ныне заслуженные артисты республики Бадри Тоидзе, Тамаз Андгуладзе и Гено Муджири.

— Считаю своим долгом упомянуть о «созвездии» музыкантов, которые преподавали тогда в училище, — говорит Анзор. — Дирижерскому мастерству нас обучала Нино Мцитлавишвили, музыкальной теории — Акаки Андриашвили, другим предметам — Михэил Канчели, Леила Хапава, покойный ныне Гиви Лордкипанидзе, который помимо всего прочего еще и кормил нас, деревенских мальчишек, водил к себе домой и как мог опекал. Всем коллективом нашего училища умело руководил директор Вахтаг Гургенидзе. Результаты налицо: в различных районах республики воспитанники училища делают важное народное дело. Тогда в училище было четыре отделения: хоро-дирижерское, театральное, клубной работы и народных инструментов. Сейчас его профиль изменился, и если раньше хоро-дирижерская кафедра в консерватории на три четверти комплектовалась из выпускников этого училища, то на сегодняшний день в составе кафедры его представителей нет. Здесь же добавим, что в районах не хватает специалистов. Необходимо вернуть училищу профиль или организовать хоро-дирижерское отделение на базе другого училища подобного типа. Было бы хорошо, если бы на это отделение по лимиту принимали сельскую молодежь, знакомую с народными песнями. Желательно, чтобы это были юноши: девушки рано или поздно с головой уходят в семейные заботы. Мне лично культпросветучилище дало многое, хотя бы с точки зрения объемного



изучения народных песен — я ведь знал только гурийские, а в училище меня познакомили с фольклором всех уголков Грузии.

В культпросветучилище дело изучения грузинских народных песен стояло на высоком уровне, им руководили известные педагоги Васо и Леван Махарадзе.

«Помню такой случай. Васо Махарадзе впервые привел меня на репетицию, во время перерыва он представил меня какому-то пожилому человеку и сказал: «Батоно Теофиле, этот молодой человек — внук Артема Эркомаишвили». Теофиле оперся на свою палку, испытующе оглядел меня и спросил: «Так значит ты его внук?» Не успел я ответить, как он необыкновенным голосом завязал хитроумный узел «криманчули». Васо Махарадзе поддержал первым голосом. Я понял, что Теофиле запел «Алипашу» и прибавил свой бас. Теофиле Ломтатидзе тогда было за 80, но в его голосе не чувствовалось даже дрожи. Он наполнил зал такими переживаниями «криманчули», что я в душе подумал: господи, хотя бы он не сбил меня с тональности. Выдержал. Когда мы кончили песню, Теофиле расцеловал меня и сказал: «Да, ты и вправду внук Артема!»

Когда я рассказал деду эту историю, он заулыбался: «Да, детка, так, словно невзначай, в старину известные певцы про веряли новичков и неизвестных. Они так переплетали свои голоса, так усложняли песню, что если у певца не было хорошего слуха или опыта, он неизбежно сбивался с тональности. А это уже означало поражение. Если же певец успешно проходил испытание, понятно, это повышало его авторитет в глазах мастеров».

В культпросветучилище Анзор Эркомаишвили проучился неполных три года и затем сдал экзамены в консерваторию на дирижерский факультет. В консерватории его педагогами были Михаил Дзидзишвили, Вахтаг Палиашвили, Джемал Гокиели, тот же Гиви Лордкипанидзе и другие.

В 1961 году образовалась знаменитая вокальная группа «Гордела», в которую, кроме Анзора Эркомаишвили, вошли и другие энтузиасты: Гомари Сихарулидзе, Темур Кевхишвили, Бадри Тоидзе, Тамаз Андгуладзе, Кукури Чохонелидзе и Тамаз Павлов. Надо сказать, что подобного ансамбля вообще не существовало не только в Гурии, даже в Грузии. В связи с этим можно упомянуть лишь «Швидкацу» Джансуга Кахидзе, соз-

данную им в 1957 году, которая стала лауреатом международного молодежного фестиваля и вскоре после этого распалась. «Гордела» просуществовала до 1970 года. Этот коллектив за десять лет проделал огромную работу по сбору, обработке и популяризации грузинских народных песен.

— В консерватории мы не изучали песенного фольклора. Наши знания в этой области приобретались в семье и в училище. А необходимо ввести в консерватории изучение народных песен и даже, более того, возвести это дело в ранг профилирующей специальности. Из будущих дирижеров и фольклористов обязательно должен быть создан кружок народной песни. Тем более, что есть такая возможность — в консерватории преподает прекрасный знаток грузинских народных песен и неутомимый энтузиаст Анзор Кавсадзе.

Анзор Эркоманшвили был на третьем курсе, когда его призвали в армию. По возвращении он продолжил учебу и, одновременно, начал преподавать в тбилисской первой средней школе. Затем он окончил консерваторию и молодого специалиста направили работать в Рустави.

Вначале он работал педагогом в руставском музыкальном техникуме, а в скором времени стал его директором. Совместно с педагогами техникума Анзор Эркоманшвили организовал сейчас уже известный всей стране вокальный ансамбль «Рустави». Это было в 1969 году. Сегодня в состав ансамбля входят: Гаиоз Арабашвили, Нугзар Гелашвили, Гамлет Гонашвили, Саливер Вадачкория, Бадри Тоидзе, Иракли Матикашвили, Рамин Микаберидзе, Гено Муджири, Тариэл Онашвили, Анзор Тугуши, Джумбер Колбая, Ладо Цивцивадзе и сам Анзор Эркоманшвили.

Этот коллектив с большим успехом гастролировал почти во всех уголках Советского Союза, объездил многие зарубежные страны и всюду им сопутствовали успех и восхищение зрителей. Недавно фирма «Мелодия» выпустила альбом из пяти пластинок, в котором объединены 60 народных песен и древних песнопений в исполнении «Рустави». Этот альбом — итог неутомимых поисков и серьезной работы в течение двенадцати лет.

9 мая 1979 года перед зрителями предстал новый коллектив — детский ансамбль, который исполнял грузинские народные песни. Для детей тот телевизионный концерт был первым публичным выступлением. На долю малышей выпал большой успех. На объявленный редакцией конкурс на луч-



шее название ансамбля 300 авторов прислали свои предложения. Одни предлагали назвать коллектив «Джеджили» («Всходы»), другие — «Цкаро» («Родник»), третьи — «300 армянцев». Но авторы одной трети писем поддержали «Маргве» — «Орленок».

Так появился «Маргве».

Впрочем, коллектив этот, правда без названия, был организован двумя годами раньше. Инициаторами этого начинания были директор тбилисского Дсма по эстетическому воспитанию при Тбилисском ГорОНО Натела Джигаури и Анзор Эркоманшвили.

— Мы начали с отбора детей в школах. У малышей не было ни малейшего представления о народной песне. Трудно было убедить детей записаться в нашу группу. Они капризничали, им не нужны были никакие народные песни, многие даже скрывали, что у них хороший слух. Кое-как 30 детей мы все же собрали. Но некоторые из них не пришли, других не привели родители, а те, кто все-таки рискнул доверить нам своего ребенка, сделали это лишь ради меня, точнее — моего имени. Песен мы не разучивали целый год — только развивали навыки и разрабатывали упражнения. Дети привыкли к однопольным песням, полифония давалась им с трудом. Незаметно я ввел в программу двухпольные песни, а затем и трехпольные.

Анзор Эркоманшвили вполне справедливо считает, что вместе с азбукой ребенок должен усвоить и почувствовать душу народной песни, ее прелесть. В противном случае в дальнейшем для этого у него ни времени не останется, ни желания не возникнет, так как ухо уже «наострено» на эстраду.

Не расценивайте такое бескомпромиссное противопоставление эстрады народной песне, как неуважение к эстраде. Ей ничего не грозит! Она занимает свое почетное место. Нам бы свое, кровное, сберечь, то, что вернее всего выражает наш национальный характер.

— А что может школа?

— Многое, очень многое! Уроки пения должны проводиться с первого по десятый класс. И петь должны именно грузинские народные песни. Мы не можем руководствоваться программой, составленной для других национальных школ, так же, как они не смогут пользоваться нашей. Если по физике и

математике единая программа — единственный путь обучения, то в пении, так же как и в преподавании родного языка и литературы, работать так нельзя. Лично я считаю это педагогической близорукостью. Кроме того, уроки пения не должны быть фиктивными, их должны проводить специалисты музыки. Именно в этом направлении и должна быть поставлена работа в школе. Должны быть изданы специальные сборники. Исправить положение помогут и ансамбли типа «Мартве».

В Тбилиси уже создано несколько подобных коллективов, а во всех средних школах Махарадзевского района организованы группы по изучению народных песен. Руководят этими группами молодые хормейстеры, которые, в свою очередь, объединены в кружок молодых хормейстеров. Кружок называется «Элеса» и руководит им брат Артема Эркомашвили Ладико. Сейчас найти кадры, а вернее подготовить их можно везде: и в Телави, и в Лентехи, и в Хуло... Нужно лишь найти в районе одного человека, который подобно Ладико Эркомашвили будет воспитывать хормейстеров и ставить их во главе групп в их родных селах.

Однако вернемся к «Мартве». В прошлом году малыши завоевали первое место и большую золотую медаль на состоявшемся в Дубне Всесоюзном фестивале детских хоровых коллективов, в котором принимали участие более сорока коллективов из всех союзных республик. Ансамбль был на гастролях в Польше, ФРГ. Скоро появится маленькая пластинка с записью нескольких песен «Мартве». Подготовлен сборник 40 песен из репертуара «Мартве», который составил Анзор Эркомашвили для школьных хоров и детских ансамблей и который можно рассматривать как программный для учителей пения. Ребята из «Мартве» разучивают все три голоса. Самые маленькие поют первым голосом, когда немного подрастут — вторым, и наконец в возрасте 13—14 лет — третьим. Этот принцип особенно строго должен соблюдаться в период мутации, когда у ребенка «ломается» голос и существует опасность повредить его голосовой аппарат.

Естественно, перечислить здесь всех членов ансамбля невозможно, однако Анзор Эркомашвили все же попросил меня записать несколько фамилий: Зураб Нинуа, Гиорги Иоселиани, Лаша Чхаидзе, Эрекле Чалаташвили, Бадри Каралашвили, братья Дато и Шмаги Апциаури, Дато Шанидзе, близнецы Заза и Сулхан Нинидзе, Майя Микаберидзе...

12-летняя Майя — единственная девочка в ансамбле и единственная исполнительница «криманчули».



— Майя — дочь Рамина Микаберидзе. Невозможно говорить о «Мартве», не упомянув имени этого ведущего солиста «Рустави». Он — один из руководителей ансамбля и принимает самое деятельное участие в его творческой работе.

Если на первых порах перед нами стояла проблема привлечения в ансамбль детей, то сейчас число желающих попасть в него превзошли все ожидания. Ансамбль стал необычайно популярным. Возможно, не каждый из этих ребят станет певцом, однако то, что все они будут хорошими людьми, патриотами, радетелями народной песни, сомнений не вызывает. В то же время, ясно и то, что среди них вырастут и талантливые певцы и хормейстеры. Во всяком случае Анзор Эркомаишвили делает для этого все, бескорыстно передает малышам все свои знания и опыт. Именно в этом он видит свое призвание. Анзор Эркомаишвили может повторить слова своего деда:

— Самое большое счастье для меня — научить петь другого!

И до тех пор, пока будут существовать такие люди, народной песне не грозит забвение.



Владимир АЛПЕНИДЗЕ

## ВОЗРОЖДЕННЫЙ, ОБНОВЛЕННЫЙ...

**М**НОГИЕ помнят, вероятно, овеянные грустью строки Иосифа Гришашвили из стихотворения «Прощание со старым Тбилиси»:

Тбилиси древний мой, — сомнениям  
Нет доступа на этот раз.  
Расстанемся и путь изменим.  
Прощай! Будь счастлив! В добрый час...

Поэт прощался со старым городом с чувством сожаления — подвластное времени уходит что-то очень близкое, характерное разве что только для такого города, как Тбилиси.

Тот, кто не оказался свидетелем второго рождения Тбилиси, тот воистину не знает его!

Сказано, что дважды не войти в одну и ту же реку. Дважды не открыть также и дверей в старый Тбилиси. Время течет, подобно реке...

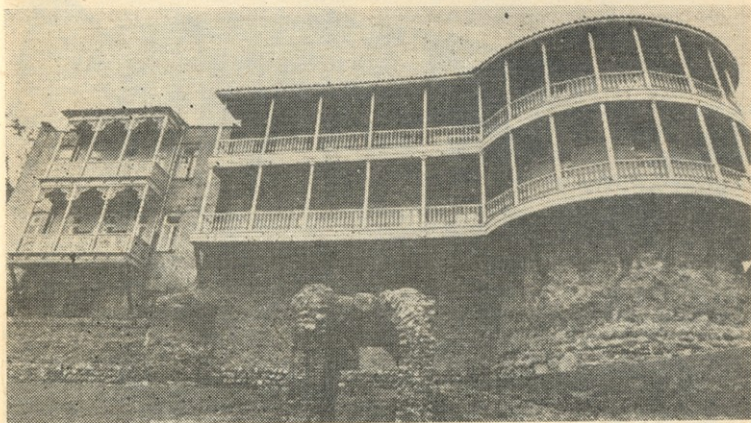
Иной старый Тбилиси предстал перед нами сегодня. Считается, что архитектура — застывшая музыка. Так вот эта музыка — архитектура старого Тбилиси ожила и зазвучала в душе каждого грузина.

Мне кажется, что и душа истого тбилисца — ашуга Иэтима Гурджи почувствовала, что возродился любимый им город. И когда я брожу по улицам старого Тбилиси, мне слышится задушевное пение ашуга. Незаметно рождаются новые стихи.

Город под стенами Нарикалы,  
Наша близость неисповедима!  
Мой земной приют, моя икона,  
Узнаешь ли голос Иэтима?  
Пусть твое полуденное небо



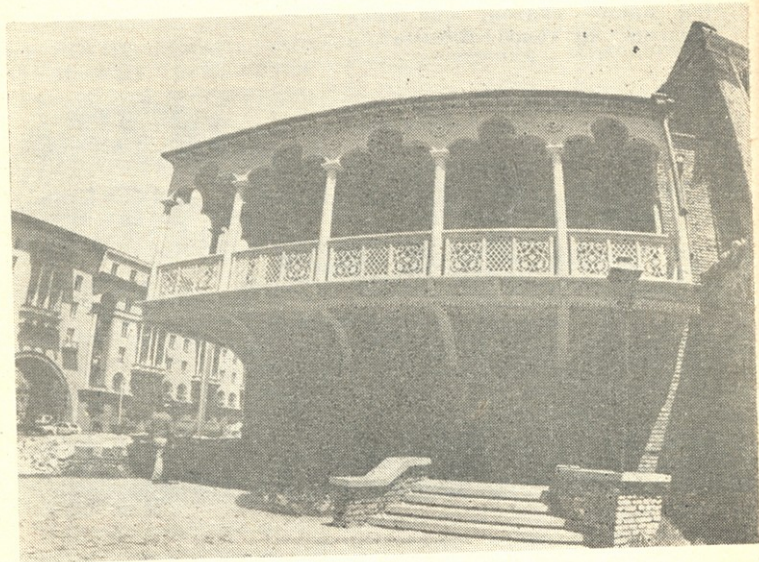
Звездами пожалует природа!  
Это страж поэзии бесценной  
Говорит — Гурджи, ашуг народа.  
Город мой, прими мои баяты,  
Велушайся, то мир поет со мною,  
Счастлив сквозь потери и утраты  
Гурджи, убеленный сединою.  
Город мой, с любовью беспредельной  
Небо мне вложило в руки тари,  
И тебе, Тбилиси, крест натальный,  
Я доверил душу сазандари.  
Храм мой, светлый дом, краса земная,  
О тебе бессмертным стало слово!  
Ни на что вовек не променяю  
Нежный звук напева городского.  
О Тифлис, сынам твоим слугою  
Был и буду сколько хватит силы,  
Мир поверит нищему изгою,  
Если струны — собственные жилы!  
Для сердечной песни нет канона.  
Прошлое в душе неизгладимо...  
Мой приют святой, моя икона,  
Узнаешь ли голос Иэтима?..



Мне кажется, что величие наших дел не оставило бы равнодушным и такого большого ашуга, каким был Саят-Нова, нашедший свой вечный приют в земле грузинской. И рождаются стихи.

Я — дудуки, я — тари,  
Я — дух Сираджхана.  
Я — зовущие губы,  
Разверстая рана.

Я — любовная нега,  
Я — панцирь для друга!  
Бог незримый владеет  
Рукою ашуга,  
Я на трех языках  
В драгоценные строки  
Превращаю сердца  
И речные потоки,  
Пью из чаши невзгод,  
Но от счастья немею,  
Озирая сияющий  
Город-камею.  
Я — побег тростниковый,  
Дыханье дудуки,  
Я — глоток родниковый,  
Я — матери руки,  
Я — звезда над Сиони  
И отблеск восхода...  
Я — в молитве Ираклия  
Нота народа...



Колоритные фигуры тбилисской литературной и музыкальной богемы — кинто и карачохели, — казалось, и вовсе не исчезали из города. На концертах профессиональных и самодеятельных коллективов танцует столько кинто и карачохели, что вряд ли Тбилиси прошлых лет мог похвастать столь многочисленной прослойкой своих жителей.



С любовью вспоминал о них непревзойденный знаток бо-  
геми старого Тбилиси, подлинный тбилисец поэт-академик  
Исиф Гришашвили. И вот сегодня на оживленных узких  
улочках старых кварталов я словно вижу того карачохели,  
истого горожанина, степенного, наделенного чувством собст-  
венного достоинства, и слышу песню, родившуюся в моей  
душе.

Ты пережил нашествия и бури,  
Тбилиси — ирис сказочного сада.  
Блаженные напевы калакури,  
Великого Ираклия ограда,  
Балконзв голубых живая пряжа  
Вовек нетленны в благодатной выси,  
И как всегда достоин и отважен  
Карачохели старого Тбилиси.  
Легенды улиц в новом пересказе  
Полны игры, как солнечные вина,  
Любовь и слезы — строки Мухамбази  
Волнуют сердце старого грузина.  
Я молод вновь в шуршащем фазтоне,  
Любимой узнан в юношеской стати!  
Несутся в ночь распаренные кони,  
И расправляет крылья Анчисхати!  
За память предков и за мудрость вашу,  
Творцы Тбилиси, заново рожденный  
Беру я в руки каманчу и чашу,  
И славлю город, братством освященный!

Тщетной оказалась битва наместника Ермолова с тбилис-  
скими балконами. Они ожили в своей прежней красоте, радуя  
взор изысканной резьбой, изящными балясинами. Возрожден-  
ные старые кварталы Тбилиси — это своего рода приговор  
тем, кто считал, что в старом Тбилиси нечего показывать.

Возрожденный, обновленный Тбилиси — свидетельство то-  
го, что все, что подлинно национально, бессмертно.

Владимир ЧЕРЕДНИЧЕНКО

# АРИСТОКРАТ ИНТЕЛЛЕКТА

●  
ЭДГАР ПО  
●

Ради того, чтобы читать в подлиннике Эдгара По, стоит и должно изучить английский язык.

Валерий Брюсов

**В** НАЧАЛЕ века<sup>1</sup> жизнь Эдгара По все еще была окутана легендой, а его творения воспринимались как мистические и в высшей степени мрачные откровения человечеству. Так, издававшийся в Тбилиси журнал «Фаскунджи», давая характерную для символистского мировосприятия оценку жизненного и творческого пути американского писателя, подчеркивал: «Главную тему произведений По составляет ужас человеческого существования»<sup>1</sup>. Кем же был этот человек из легенды?

Сохранившиеся портреты Эдгара По и широко известный да-

<sup>1</sup> «Фаскунджи», 1909, № 2, с. 19, (груз. яз.)



герротип подтверждают наблюдения современников: это был человек неординарной внешности. Благородный лоб, в котором, по словам Бодлера, «царствовал в горделивом спокойствии дух альности», и пылливо устремленные на зрителя глаза приковывают внимание. Такое лицо не могло оставить равнодушным.

Эдгар По прожил бурную, полную драматических страстей жизнь, в которой богатство, слава и любовь перемежались с нищетой, травлей и утратами. Накал страстей в этой жизни часто достигал критической точки, что дало повод Валерию Брюсову как-то заметить: «О трагической жизни Эдгара По надо говорить или много, или лучше совсем не говорить»<sup>1</sup>

Генерал американской армии Дэвид По, принимавший участие в исторической битве за Независимость и добровольно расставшийся с наследством в пользу нуждающейся в обмундировании армии, мог бы гордиться своим внуком Эдгаром, который невзирая на превратности судьбы, болезни и лишения до конца дней своих оставался истым джентльменом, не совершившим «ни одного поступка в жизни, который вызвал бы краску на щеках» и мечтавшим установить в Америке «аристократию интеллекта».

Ирландец по происхождению, Эдгар По унаследовал от предков пылкость, переходившую порою в запальчивость, когда дело касалось его «святая святых» — литературы. Он был беспощаден ко всем притязаниям «невежества, наглости и глупости», чем и снискал себе репутацию критика «с томагавком в руках». «Поэт «Ворона», — писал Константин Бальмонт, — совсем не подходил на эту сильную, смелую, но в смелости чрезвычайно осторожную птицу, которая живет только в уединенных горах и в дремучих лесах и на очень высоких зданиях, не посещаемых людьми, всегда ставя пространственную преграду между собой и возможным врагом»<sup>2</sup>. И клевета врагов оказалась сильнее заступничества друзей — скомпрометированный фиктивными воспоминаниями современников и подложными документами, Эдгар По предстал в воображении потомков не только изгоем, человеком «вне времени и пространства», но и маньяком, снедаемым неукротимыми порочными страстями. Потребовалась неутомимая деятельность Шарля Бодлера, первооткрывателя По в Европе, а также кропотливый труд английских и американских историков ли-

<sup>1</sup> Брюсов В. Я. Эдгар По. — В кн.: История западной литературы. /Под ред. проф. Ф. Д. Батюшкова. М., 1914, т. 3, с. 329.

<sup>2</sup> Бальмонт К. Д. Очерк жизни Эдгара По. — В кн.: По Э. Собр. соч. в переводе К. Д. Бальмонта. М., 1912, т. 5, с. 83.

тературы (Дж. Ингрэма, Дж. Вудберри, Дж. Харрисона и других), чтобы восстановить доброе имя гениального сына Америки. Однако легенда о «безумном Эдгаре» не умерла до сих пор, продолжая будоражить умы легковерных потомков.

Эдгар По счастливо сочетал в себе два великих дара — поэта и новеллиста, обладая, кроме того, критической жилкой и философским складом ума. «Звездный час» в творческой биографии американского писателя — 19 октября 1833 года, дата публикации в журнале «Балтимор сэттерди визитер» «Рукописти, найденной в бутылке», принесшей двадцатичетырехлетнему автору не только первую премию, но и широкую известность. Любопытно, что один из членов жюри — писатель и государственный деятель Джон Кеннеди — станет впоследствии преданным другом и покровителем молодого литератора и журналиста.

Перу Эдгара По принадлежит около семидесяти рассказов, две повести, одна незаконченная драма, несколько десятков стихотворений, две поэмы, несколько эстетических трактатов, множество критических статей, эссе, заметок, афоризмов и ряд специальных изысканий. Не имея возможности подробно остановиться на его лирике, которая оказала значительное воздействие на поэтическую культуру целого ряда поколений американских, английских, французских и русских поэтов, или на его новеллистику, психологическая, детективная, научно-фантастическая и приключенческая ветви которой успешно развивались мастерами художественной прозы, сфокусируем свое внимание на бессмертном «Вороне», воплотившем лучшие черты поэтического гения Эдгара По, и «Лигейе», наиболее совершенном образце новеллистического жанра.

Заставив своего героя распахнуть окно в одну из темных ненастных ночей и впустить зловещую птицу в дом, «ужасом объятый», автор не знал, что он мумифицирует образ, который переживет многое из того, что было и будет создано руками человека:

Я толкнул окно, и рама подалась, и плавно, прямо  
Вышел статный, древний Ворон — старой сказки божество;  
Без поклона, смело, гордо, он прошел легко и твердо, —  
Воспарил, с осанкой лорда, к верху входа моего,  
И вверху, на бюст Паллады, у порога моего  
Сел — и больше ничего.

[Пер. Altalena (В. Жаботинского)].

«Ворон» состоит из 18 стрóf, причем 10 из них занимает диалог Человека и Птицы. Это наиболее захватывающая часть стихотво-



рения, напряженный поединок полярных идей, построенный на искусном чередовании вопросов героя, выстраивающихся в строгую логическую цепочку, и однозначных ответов птицы. Многократно повторяющаяся реплика Ворона «Nevermore» («Больше никогда») возводит героя на все более высокие ступени отчаяния. Это удачно найденная формула «сильной необратимости» времени является кодом к расшифровке сложной проблематики стихотворения. Она со всей очевидностью иллюстрирует необратимость течения времени, не возвращающего раз и навсегда отнятые у человека ценности; и в силу своей лапидарности, а также вследствие многократного повторения производит более сильное впечатление, чем пространные рассуждения о необратимости времени в средневековом «Романе о Розе» (XIII в.) или в научных трактатах философов нового времени.

Стихотворение построено столь искусно, что «лишь в самой последней строке самой последней строфы проясняется намерение сделать его (Ворона — В. Ч.) символом горестного и нескончаемого воспоминания»<sup>1</sup>.

Следует отметить, что необычная фабула стихотворения — визит дикой птицы к человеку и осуществление контакта между ними — не была приоритетом творческой фантазии Эдгара По. Сходная фабула легла в основу «Оды о сове» («Фуня фу») китайского поэта Цзя И, творившего во II веке до нашей эры! Вот первая часть этого, написанного более чем за две тысячи лет до «Ворона» стихотворения, озаглавленного в русском переводе «Ода о зловещей птице»:

В году «дань-э», как начался  
Четвертый месяц и в права  
Вступило лето, день «гэн-цзы»  
Померк — влетела в дом сова...  
На спинке кресла примостясь,  
От лени двигалась едва...

Я, обернувшись, промолчал,  
Но был, конечно, удивлен,  
Взял книгу, стал по ней гадать —

<sup>1</sup> По Э. Философия композиции. — В кн.: По Э. Рассказы и стихотворения... /Выборка, ред., предисл. и примеч. Ф. Ван Дорен Стерна. Нью-Йорк, 1977, с. 564 (англ. яз.).

И мрачный вычитал закон:  
«С прилетом дикой птицы в дом—  
Хозяина из дома вон!»



Я разрешил себе спросить  
У гости: мне теперь куда?  
Предстанет счастье и успех,  
Иль сторожит меня беда?  
Быть может, скажет, утоплюсь?  
Иль впереди сочтет года?

И птица, будто бы вздохнув,  
Взмахнула крыльями в ответ:  
«Сам в мыслях у меня читай,  
У птицы дара речи нет».

(Пер. А. Адалис)

Далее следуют философские рассуждения о жизни, вычитанные, надо полагать, телепатически в «мыслях» у мудрой птицы. Поражает сходство не только общей ситуации, но и целого ряда деталей — произведения начинаются с указания времени происшедшего (у По указан час, у китайского поэта — точная календарная дата происшедшего и время суток), четко обозначено место, на которое усаживается птица, показана эмоциональная реакция (в обоих случаях — удивление) героя; далее в связи с появлением птицы делается мрачный прогноз, и наконец оба героя обращаются к вещунье с просьбой предсказать судьбу. Любопытно, что герой По при появлении птицы откладывает книгу, а герой Цзя И берет книгу в руки. Таким образом, мы имеем устойчивый архаический комплекс «человек — птица» (включающий такие звенья, как число—время—книга—судьба), связанный с древнейшими поверьями; из этого мифологического арсенала и черпают поэты разных эпох и народов. Однако сходство «Ворона» Эдгара По и «Оды о сове» Цзя И этим исчерпывается. Главное отличие Ворона от Совы состоит в том, что Сова — лишь внешнее оправдание постулатов автора, тогда как Ворон — конкретное существо и символ одновременно, сила, способная вступить в противоборство с героем. Образ Ворона выписан с большой художественной убедительностью (портрет, повадки). В частности, рефрен «Nevermore», являясь значимым словом, мастерски имитирует карканье ворона.



Повальное увлечение «Вороном» самыми широкими читательскими кругами в Америке, а затем и в Европе, начавшееся еще при жизни По и достигшее благодаря символистам своего апогея на рубеже двух столетий, естественно привело к обратному социологическому эффекту — к массовой утрате остроты восприятия стихотворения, что и предопределило дальнейшую довольно скромную судьбу «Ворона». Входящее во все хрестоматии англоязычной поэзии и зазубриваемое с детства стихотворение утратило для американского читателя свой магический ореол и перестало служить мерилom тонкого эстетического вкуса. «В наше время американцу <...> быть может недоступно свежее восприятие «Ворона», — пишет американский литературовед, — ибо стихотворение стало тем материалом, на котором упражняется любой декламатор, а его некогда оригинальные интонации приглушены пародиями»<sup>1</sup>. Однако непредвзятое, внимательное прочтение «Ворона» может приобщить не только профессионала, но и рядового читателя, наделенного воображением, к тем глубоким и неисчерпаемым ассоциативным пластам, которые образуют атмосферу стихотворения. Не вызывает сомнений и тот факт, что новые взлеты «Ворона», перемежаемые неизбежными падениями, еще впереди, поскольку «Ворон» по праву принадлежит к вершинным созданиям человеческого гения. И хотя Эдгар По был не чужд рисовки, у нас нет оснований сомневаться в том, что в частной беседе он высказал свое заветное убеждение, что будущие поколения сумеют «отсеять крупички золота от руды, и тогда «Ворон» засияет в вышине, как алмаз чистойшей воды»<sup>2</sup>.

Значительный интерес представляет и ретроспективный взгляд на «Ворона». Для того, чтобы разобраться в социологическом феномене — причинах беспрецедентного успеха, выпавшего на долю «Ворона», следует изучить психологию массового восприятия и сложившуюся к тому времени историко-литературную ситуацию. И хотя такое исследование еще не создано, можно с уверенностью предположить, что Эдгару По с его стажем работы в самых различных журналах и знанием американской литературной жизни были хорошо известны эти факторы, и он,

<sup>1</sup> Маттисен Ф. О. Эдгар Аллен По. — В кн.: Литературная история Соединенных Штатов Америки. М., 1977, т. 1, с. 399.

<sup>2</sup> Цит. по; По Э. Стихотворения. Проза /Сост., вступ. ст. и примеч. Г. Злобина. М., 1976, с. 820.

безусловно, учел их, задавшись целью «создать стихотворение, которое удовлетворило бы вкусы одновременно и публики, и критики»<sup>1</sup>. Задача была, конечно, не из легких, поскольку необходимо было создать многослойное произведение, за общедоступным слоем которого пряталась бы другая, более сложная структура «для посвященных». И, что самое главное, нужно было изобрести некое универсальное средство, с помощью которого читатель мог быть введен в поэтическую действительность. Именно таким средством стала суггестия (внушение), безошибочно найденное поэтом оружие воздействия на массовую психику, на психику людей различных социальных групп, профессий, темпераментов, возрастов, уровней культуры. Началось повальное увлечение «Вороном», которое современники сравнивали с «помешательством». Но если магия звучания заслоняла от неискушенных читателей глубинные слои, то для тех немногих, которые только и могли по достоинству оценить «Ворона», она была лишь средством к постижению его глубокой символики.

Следует отметить, что высокую степень суггестивности переживания обеспечивает эффект монотонности («the force of monotone»), в создании которого принимают участие повторы сюжетных элементов, фонетических, лексических и синтаксических единиц, рефрен «Nevermore». Конечно, повторы как одно из средств усиления художественной выразительности применялись задолго до Эдгара По, однако такая степень их насыщенности при полной согласованности с основной тональностью произведения была неведома мировой поэзии. Позднее Эдгар По закрепил свой успех в стихотворениях «Улялюм», «Колокола», «Эннабел Ли», а его достижения в области метрики и эвфонии станут предметом специального рассмотрения.

Образ эдгаровского Ворона — источник вдохновения для многих поэтов последующего поколения — Стефана Малларме, Константина Бальмонта, Александра Блока, Галактиона Табидзе и других: Об особой популярности «Ворона» в России, в частности, свидетельствует тот факт, что на сегодняшний день опубликовано 15 полных переводов стихотворения на русский язык (из них 6 выполнены в советское время), причем среди переводчиков мы встречаем такие имена, как Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Михаил Зенкевич. «Ворон» не раз переводился и на грузинский язык — заслуживает внимания перевод, недавно выполненный Георгием Нишнианидзе. В «каталоге образов» мировой литературы Ворону принадлежит бесспорно выдающееся

<sup>1</sup> По Э. Философия композиции, с. 552.



место — с ним связан целый комплекс устойчивых культурных ассоциаций, передающийся от одного поколения к другому. Однако этот факт вовсе не означает окончательной канонизации образа. Попытки его переосмысления весьма многочисленны (одна из самых последних — стихотворение нашего современника Игоря Тарасевича «Ворон», в котором столкновение бытового и культурного планов завершается утверждением последнего).

Разговор о «Вороне» логично завершить описанием оригинального эксперимента, осуществленного Эдгаром По. В 1846 году, окрыленный успехом своего детища, поэт решает поверить алгеброй аналитического ума совершенную гармонию стиха. Так появляется уникальный трактат «Философия композиции», проливающий свет на тайну создания стихотворения «Ворон». Творческий процесс предстает в описании По как имманентный процесс, подчиненный логической установке и построенный на дедукции. Тем самым автором снимается сама постановка вопроса о каких-либо внешних воздействиях, не говоря уже о влияниях и заимствованиях. Однако подход, продемонстрированный По, — по всей видимости не единственный, который может привести к аналогичным результатам. К тому же принципиально недоказуема степень тождества описываемого творческого процесса тому, который имел место в действительности при создании стихотворения, — приходится полагаться на искренность намерений автора и его память. Однако По, безусловно, мог подвергнуть творческий процесс при его описании вторичной рационалистической обработке (устраняя случайности и несоответствия), задавшись целью построить такой механизм творческого процесса, который в наибольшей степени отвечал его эстетическим воззрениям. Стремление вывести как можно большее число заключений из нескольких постулатов свидетельствует о том, что Эдгар По руководствовался в своей теории критерием изящества. Рассматривая результат творческого труда как математически неизбежный, По фактически уподоблял творческий процесс процессам, которые в настоящее время имеют место в кибернетических машинах, — ввод определенных данных обеспечивает вывод в строгом соответствии с программой однозначной информации. Попытка математической идеализации творческого процесса, предпринятая По, разумеется не может считаться достаточно корректной — психический процесс, опирающийся на работу памяти и воображения, сопротивляется какой бы то ни было жесткой регламентации и не укладывается в рамки стро-

ного дедуктивного метода. Тем не менее эта беспрецедентная для XIX века попытка дерзкого разоблачения большим мастером «тайн творчества», направленная против дилетантских и поверхностных попыток объяснить творческий процесс туманными намеками на «высшее озарение», со всей очевидностью продемонстрировала роль логического начала в творческом процессе. Заслуживает внимания четкое разграничение По чувственного (сенсуального) аспекта, играющего ведущую роль при восприятии произведения искусства, и логического (рационалистического) — при его создании. Кроме того, произведенную По логическую реконструкцию текста с привлечением данных лингвистики можно считать прообразом новейших исследований в области поэтики.

Бернард Шоу однажды заметил: «В рассказах тайн и воображения По побил мировой рекорд английского языка, а может быть, и всех языков. История леди Лигейи — не просто одно из чудес литературы: ей нет ни равных, ни даже подобных». И действительно, «Лигейя» принадлежит к числу наиболее совершенных образцов малого жанра. Во-первых, она невелика по объему, то есть может быть прочитана за один присест (единству впечатления По придавал большое значение). Во-вторых, она содержит постановку проблемы жизни, смерти и бессмертия, всегда волнующую homo sapiens. В-третьих, она рисует «светлый идеал», за отсутствие которого Эдгара По упрекал в свое время Достоевский. И, наконец, в-четвертых, она написана тем безупречным языком, который позволяет увидеть в По наследника традиций английского Просвещения.

Мистический ореол, которым была окутана новелла, связан с мотивом посмертного возрождения леди Лигейи, в которую перевоплощается умирающая леди Ровена. Однако мистическая — прямолинейная трактовка образа обедняет проблематику произведения. Красноречивый эпиграф «Ни ангелам, ни смерти не предаст себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей», взятый из сочинений английского философа XVII века Джозефа Гленвилла и проходящий красной нитью через всю новеллу, содержит косвенное указание на какие-то неиспользованные волевые ресурсы человека и заставляет вспомнить о пылком уме Эдгара По, увлеченного разгадкой неразгаданных тайн человеческой психики. А это, безусловно, есть в высшей степени жизнеутверждающий момент. Сила, заставляющая Лигейю покинуть «царство мертвых», — это «необузданная, неутолимая жажда жизни», «необоримое стремление» к ней, одним



из проявлений которого стала «пылкая преданность» Лигейи своему возлюбленному.

Образ Лигейи — один из самых значительных в художественном мире Эдгара По. Он индивидуализирован настолько, насколько это позволяет сделать произведение малого жанра, хотя и вбирает в себя многое из того, что присуще героиням других новелл — Беренике, Морелле, Элеоноре, Маделине. Несмотря на то, что образ Лигейи переживает четыре стадии своего существования — жизнь, борьбу со смертью, смерть, возрождение, — он лишен внутренней динамики. Отсюда — его неподвластность времени, его надчувственный характер. Все внимание приковано к внешности Лигейи, каждая деталь которой раскрывает какое-то особое качество ее души. Следует отметить высокое искусство По-портретиста («Озальный портрет», «Падение дома Ашеров», «Морелла», «Лигейя»), стремившегося к столь тщательной детализации, что у читателя возникала иллюзия живописной природы образа.

Предваряя портрет Лигейи общим впечатлением от красоты ее лица, Эдгар По пишет: «Это было сияние опиумных грез — эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантасмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса». Вообще следует отметить, что эстетическому вкусу По, воспитанному на образцах греческого искусства, отвечал классический идеал. Правда, последний был откорректирован По с учетом романтической поэтики *bizarre* с помощью несколько измененной цитаты из Фрэнсиса Бэкона «Не существует утонченной красоты без некой необычности в пропорциях» («Лигейя», «Marginalia»). Однако такая корректировка лишь подчеркивала общую классическую направленность идеала По. Так, портрет Лигейи — высокий образец гармонической красоты:

«Я разглядывал абрис высокого бледного лба — он был безупречен [о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!], разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовый»! Я смотрел на тонко очерченный нос — такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупреч-

ность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного — великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим, каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков — те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи» (пер И. Гуровой).

Глазам Лигейи По отводит большой абзац, подчеркивая, что неклассическая «странность» заключалась не в величине, цвете или блеске глаз, а в их выражении.

Рисуя «величие и спокойную непринужденность эсанки», «непостижимую ясность и грациозность походки», мелодичный голос Лигейи, По наделяет ее в то же время качествами души и чертами характера, которые традиционно считались привилегией мужской половины человечества — высоким интеллектом, обширнейшими познаниями, колоссальной силой воли. Такой уникальный сплав по всей видимости означал устремленность этого образа в будущее, хотя истории были известны примеры сочетания у женщин необыкновенной красоты с высокой ученостью (Сапфо, Аспасия, Таис Афинская). Путь познания тайн природы и человеческой психики казался Эдгару По, по-видимому, единственным путем, который может избавить человечество от грозящих ему бед и опасностей. Некоторый схематизм женских образов По, их надчувственный характер и всесторонняя безупречность наталкивают на мысль о человеке-роботе, к идее которого уже вплотную подошла литература XIX столетия (Мэри Шелли). При таком подходе металогический скачок от прекрасной безупречной Лигейи к безобразной, но еще более безупречной Маске Станислава Лема может показаться не столь уж парадоксальным.

Предъявляя высокие требования к эрудиции своих героев, автор был не менее требователен и к самому себе. Необъятные познания Эдгара По поражают. В сфере его интересов — религии Древнего Востока и античные философские школы, неоплатонизм и средневековая теология, немецкая классическая и новейшая трансцендентальная философия, астрономия, ботаника, химия, математика, архитектура... Увлеченность Эдгара По распространялась и на такие специфические области, как декоративное



16 1935940  
812 1110333

садоводство, дизайн, криптография, графология, гипноз, конхиология, геральдика, шахматы... Причем это было не праздное любопытство дилетанта, а стремление постичь ранее неизвестное, осветить его по-новому и поделиться своим открытием с читателем. Так появляются специальные изыскания По «Криптография», «Философия обстановки», «Первая книга конхиолога» (написана совместно с Т. Уайетом), трактат «Эврика», излагающий философию мироздания. И хотя Эдгар По не внес какого-либо реального вклада ни в одну из перечисленных областей (разве что астрономические гипотезы По стали в последнее время привлекать к себе внимание специалистов), этот мощный фундамент знаний свидетельствовал о потенциальных возможностях их носителя и служил хорошим подспорьем в его литературной деятельности. В этой связи следует обратить внимание на то обстоятельство, что новеллы, статьи и даже стихи По очень информативны. Однако ошибкой было бы считать, что та обильная информация, которая в них содержится, призвана в первую очередь продемонстрировать ученость автора. За редким исключением она всегда подчинена — и притом самым строжайшим образом — раскрытию художественной идеи, не отвлекая внимания читателя и не разрушая эффекта сосредоточенности, который играет такую важную роль в произведениях По.

В одной из своих лучших новелл Эдгар По вложил в уста своего героя следующие примечательные слова, автобиографический источник которых не может вызвать сомнений: «Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты». Пылкость нрава немало повредила творческой карьере писателя, но сила воображения принесла Эдгару По бессмертие.

# ЕЩЕ ОДНА МОНОГРАФИЯ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ХУДОЖНИКЕ

В СЕРИИ «Жизнь в искусстве» Ленинградское отделение издательства «Искусство» выпустило монографию художника и искусствоведа Эраста Кузнецова «Пиросмани». В появлении еще одной монографии о жизни и творчестве художника, завоевавшего признание и любовь всего цивилизованного мира, нет ничего удивительного или неожиданного. И тем не менее монография Эраста Кузнецова о выдающемся грузинском художнике оказалась, во всяком случае для меня лично, приятной неожиданностью. Не так уж часто попадаются книги о людях искусства, отмеченные трезвым и аналитическим подходом к биографии и творчеству художника, профессиональными знаниями, культурой мышления и, что, пожалуй, важнее всего, тонким вкусом. Всеми этими качествами щедро наделена монография Эраста Кузнецова.

К чести автора названной

монографии нужно сказать, что он не оставляет без проверки и всестороннего анализа ни один факт из жизни художника, что позволяет ему в большинстве случаев выявить беспочвенность, бездоказательность одних данных, имеющих своим источником в основном воспоминания, и наоборот, подтвердить достоверность, логическую закономерность других.

Выводы самого автора в преобладающем большинстве убедительны и обоснованны. То, что у некоторых исследователей, любителей искусства или современников Пиросмани зачастую носило неглубокий, можно даже сказать поверхностный, характер и подавалось без всякого анализа, находит в монографии Э. Кузнецова убедительное объяснение, обоснование или не менее убедительное опровержение.

В монографии Э. Кузнецова привлекает не только тонкий аналитический ум и профессиональное чутье, но и глубокое проникновение в глубинные пласты личности грузинского художника, По-видимому, немалую роль в этом сыграл тот факт, что Э. Кузнецов родился в Грузии и прожил здесь 18 лет. Ему близки и понятны грузинский дух, национальный колорит, нравы и обычаи народа, его древние традиции. Чего стоит хотя бы то значительное, на первый взгляд, но весьма немаловажное в действительности обстоятельство, что в его книге не встретишь искаженных грузинских имен и фамилий или географических названий.

Э. Кузнецов, очевидно, понимает не хуже других, что писать о Пиросмани



трудно, но понимает также и то, что тема эта поистине неисчерпаема, и не только на сегодняшний день, но и — не исключено — вообще. Возможно, этим и объясняется спорность некоторых его рассуждений.

При изложении биографии Нико Пиросманашвили почти все исследователи слепо полагаются на вариант Бутлиашвили относительно многолетней близости художника с семьей Калантаровых (или членами этой семьи по женской линии, породнившимися с Бек-Осиповыми и Ханкаламовыми). Несмотря на то, что лично у меня этот факт вызывает сомнение, я не стал бы спорить, если бы не одна фраза самого Пиросманашвили (сказанная во время встречи в Обществе художников): «Я осиротел в восемь лет и с тех пор живу в Тифлисе». Согласно же воспоминаниям одного из членов семьи Калантаровых, он был привезен из Шулавер в Тифлис в двенадцатилетнем возрасте. Возможно, этот факт действительно имел место. Более того — возможно, привезенный из Шулавер в Тифлис мальчик действительно носил фамилию Пиросманашвили. Вопрос в том, был ли этим мальчиком будущий художник Нико Пиросмани.

Удивляет также то, что в течение всей жизни художника никто никогда не слышал, чтобы он упоминал имена Калантаровых, Бек-Осиповых или Ханкаламовых, если же верить воспоминаниям, Нико прожил в семье Калантаровых до 27(?) лет. Такая забывчивость не пристала человеку, обязанному кому бы то ни было заботой

и вниманием и умеющему быть благодарным за них, а тем более человеку с такой душой, как Нико Пиросманашвили.

Нет ли здесь какого-то недоразумения и если не измышления, то по крайней мере преувеличения?

В семье Анны Бек-Осиповой, якобы, хранится фотография Нико Пиросманашвили в молодые годы. Однако в любой семье в результате случайности или какой-то другой причины может быть обнаружена фотография того или иного человека. Означает ли это, что он обязательно жил в этой семье? Удивляет и то, что в семье, где так бережно хранили фотокарточку художника, не осталось ни одного его рисунка или наброска с кого-либо из членов семьи; при поразительном сходстве, которого, по общепринятому мнению, Пиросманашвили добивался в своих портретах, такой портрет или набросок хранили бы уже за одно это. Одним словом, мы пока еще не застрахованы от подобного рода недоразумений или неясностей.

В книгу включены фотографии, среди которых, на мой взгляд, вызывает сомнение кадр из кинохроники 1911 года. Предполагают, что попавший в кадр художник — это Нико Пиросманашвили. Отдельно, на основании других кадров кинохроники, дан увеличенный портрет этого человека в анфас и в профиль. Я не думаю, что это Нико Пиросманашвили, и вот почему. Наряду с названными фотографиями в книге помещена карточка художника в молодые годы (считаемая под-

линной). На карточке подбородок юноши действительно слегка раздвоен, но при этом имеет выраженно округлую форму, на снимке же из кадров кинохроники подбородок у мужчины плоский и квадратный. Каждый из нас может найти какое-то, хотя бы отдаленное, сходство с портретом совершенно постороннего человека. Мне вспоминается, например, смешной случай, происшедший в Париже с Ладом Гудиашивили и рассказанный им самим: в 20-х годах полицейские чуть не арестовали грузинского художника, приняв его на основании портретного сходства за американского гангстера. Недоразумение усугублялось тем, что гангстер оказался из штата Джорджия.

Э. Кузнецов пишет о Пиросмани: «Духанный художник пишет то, что ему заказывают, а не то, что хочется ему самому». Эта фраза может ввести читателя в заблуждение. Заказной сюжет, естественно, в определенной степени ограничивает свободу художника, поэтому выход из положения большие мастера, скажем Микеланджело или тот же Пиросмани, находили в том, что воплощали на холсте этот сюжет так, как понимали его, в соответствии с собственным воображением, вкусом, манерой. За исключением одного-двух случаев в работах Пиросмани не чувствуется никакого принуждения, напротив, колдовская сила его картин в значительной части как раз и обусловлена его творческой фантазией. Он воплощал тему столь неожиданно и смело, что заказчику такое и в голову бы не

пришло. Духанщики и лавочники не раз оказывались свидетелями того, как самые разные люди восхищаются «изделиями» «их Никалы». Об этом прекрасно пишет и сам Э. Кузнецов: «Окружающие Пиросманашвили люди не могли не ощущать его магической власти над куком черной клеенки и пригоршней тюбиков с красками, не могли не испытывать восторга, наблюдая за тем, как он извлекает из небытия людей, животных, предметы».

Пиросмани берет любые заказы — значительные, незначительные, однако рисует так, как чувствует и понимает. Работать по-другому он просто не может. В этом он непоколебим. И если кто-то пытается вмешиваться в его работу, он швыряет кисти и убегает.

Автор монографии пишет о Пиросмани: «Очень характерно, что он никогда не употреблял чистой зелени, соблазнявшей не одного начинающего живописца, — такой привлекательной в тюбике и такой фальшивой на картине».

Это утверждение может вызвать только удивление. Какое отношение к фальши имеет употребление чистой зелени? Сила этого цвета зависит от видения и темперамента художника, это проекция его души. Что же касается конкретно Пиросмани, то в большинстве случаев он избегает чистой, изумрудно-яркой, сочной зелени, несомненно, сознательно, поскольку она не характерна для его палитры. Однако в некоторых работах художник все же пробует этот цвет, например, в рас-



положенных террасами го-  
рах на заднем плане «Трех  
князей», да и в других кар-  
тинах, тогда, когда зелень  
кажется ему «нужной» (хотя  
в целом Э. Кузнецов прав —  
этот цвет ему чужд). Листья,  
трава, поле нередко написа-  
ны им приглушенной, чуть-  
чуть приправленной черным,  
охрой.

В превосходной моногра-  
фии Э. Кузнецова самое  
большое возражение вызывает  
фраза: «...трезвым он почти  
не работал». На самом же  
деле, если кто и считал, что  
Никала мог писать только в  
нетрезвом состоянии, так  
лишь духанщики. «Не хочу,  
вынуждают, заставляют пить  
насильно», — неоднократно  
жаловался сам Пиросмани.  
Если Пиросмани не мог ра-  
ботать без водки, почему  
этого не заметил тот же  
Илья Зданевич, которого пи-  
сал художник?

Показателен также тот  
факт, что Пиросмани с изви-  
нениями предлагал гостям  
либо лимонад, либо воду:  
трудно представить, что при  
такой любви к выпивке он  
не держал бы дома водки,  
хотя бы и в малом количест-  
ве, ведь он работал и дома!  
Даже если допустить, что ху-  
дожник действительно пи-  
сал в нетрезвом виде, то и  
тогда сомнительно, что все  
его картины были созданы  
в состоянии опьянения.

В другом месте Э. Кузне-  
цов пишет: «Ведь он рабо-  
тал не для себя и не для  
интеллигентных ценителей,  
а для толпы, заполнявшей  
духаны и лавки».

В произведении искусства,  
отмеченном печатью талан-  
та и глубокого чувства, мо-  
жет найти духовную пищу  
представитель любого слоя

общества. Монография Э.  
Кузнецова в целом, анализ  
фактов и собственные выво-  
ды автора свидетельствуют  
о том, что работы Пиросма-  
ни как раз и являют собой  
образцы такого искусства. А  
если так, как же можно ут-  
верждать, что художник пи-  
сал для «толпы»? После то-  
го как Э. Кузнецов так убе-  
дительно и доказательно обо-  
сновал величие Пиросмани,  
этот вывод абсолютно непра-  
вомерен. Здесь автор, к со-  
жалению, явно противоречит  
самому себе. Коль скоро ху-  
дожник писал под влиянием  
вдохновения и вкладывал в  
каждое полотно частичку  
своей души, можно ли гово-  
рить о том, что «он работал  
не для себя... а для толпы»?  
То, что Пиросмани писал под  
влиянием вдохновения, не  
вызывает никаких сомнений,  
ведь зачастую он даже не  
требовал вознаграждения за  
свой труд. И работал он не  
ради хлеба насущного. Глав-  
ное для него было рисовать,  
рисовать, рисовать! Удивляет  
и продолжение упомянутой  
фразы — «...и не для ин-  
теллигентных ценителей».  
Ведь сам Пиросмани гор-  
дился тем, что его работы  
находят признание в среде  
интеллигенции. Что же тогда  
могут означать его слова —  
«Меня теперь знают и во  
Франции»? Не мог же он и  
во Франции возлагать надеж-  
ды на духанщиков и толпу?

Кстати, в те времена духа-  
ны и сады-рестораны посе-  
щали не одни только пред-  
ставители низших сословий,  
т. е. не только «толпа».  
Сколько раз гостем таких за-  
ведений бывали Важа Пша-  
вела и другие писатели, лю-  
ди искусства и общественные  
деятели! И разве не интел-

лигенты-ценители открыли Пиросмани и именно в этих духанах и погребках?

Пиросмани обладал таким тонким вкусом и внутренней культурой, что заставил признать и оценить свои некогда созданные для духанов и погребков картины, искренно восторгаться ими, причем не только на родине, но и во всем мире.

Примечательно, что следующе суждение Э. Кузнецова опровергает его же собственный вывод, приведенный выше: «...творчество Пиросманашвили строго и сдержанно. Он избегал даже занимательности, как будто такой естественной для духанной живописи».

Будучи исследователем весьма наблюдательным, Э. Кузнецов обращает внимание на то обстоятельство, что Пиросмани отдает предпочтение диким животным (хотя, по правде говоря, чаще всего он изображает овец). Тем не менее никак нельзя, как это делает автор, утверждать, что в его живописи «вовсе не встретишь собаку или кошку». Кошку — действительно, а вот собак он рисовал и даже неоднократно, хотя бы в следующих картинах: «Трое имеретин и сабака», «Молотьба в Каргли», «Пастух и стадо баранов», «Охота и вид на Черное море», «Свадьба в Кахетии».

Автор монографии утверждает что на считанных картинах у Пиросманашвили являются кинто. Кинто ли это на самом деле? Не являются ли они плодом воображения тех, кто по прошествии времени взял на себя труд «окрестить» картины Пиросмани дать им

названия? Лишь на немногих картинах название написано рукой самого художника, и среди этих названий мне лично ни разу не встретилось слово «кинто».

Общеизвестно, что Пиросмани органически не переваривал кинто. Он не переносил самого их характера, манеры поведения, их неприкрытой похабщины, их зубоскальства и сквернословия, сопровождаемого непристойными жестами и мимикой. В некоторых картинах Пиросмани за кинто принимают простых горожан, ремесленников. Э. Кузнецов отмечает, что у Пиросмани «вульгарные ухарские повадки (кинто) никак не подчеркнуты». Это как раз и объясняется тем, что художник рисовал не кинто.

Нико Пиросманашвили — художник не только редкого таланта, но и исключительной, необычной судьбы. Неприятности, неудачи, беды преследовали его всю жизнь (хотя следует отметить, что этот свой крестный путь он избрал по собственной воле, выбрав своим уделом искусство). Его слава художника превзошла все ожидания. Многие художники получали признание при жизни (и иногда совсем незадолго до смерти), но посмертно всемирная слава пришла лишь к единицам. К их числу принадлежит и Нико Пиросманашвили.

Показательно, что с момента «открытия» Пиросмани по сегодняшний день у него не переводятся не только поклонники, но и противники. Еще 20—30 лет тому назад некоторые искусствоведы и художники окрести-



ли Пиросмани примитивистом.

Начнем с того, что характеристика «примитивист» не содержит в себе ничего оскорбительного, хотя бы по той простой причине, что «примитивизм» — это определенное направление в живописи, Пиросмани же не только не принадлежал к этому направлению, не только не разделял его принципов познания и отражения мира, но и не подозревал о самом его существовании. Тем не менее до недавнего прошлого самая распространенная интерпретация творчества Пиросмани не выходила за рамки этого определения (возможно, просто в силу инерции).

Волею случая — будто для того, чтобы дать нам возможность сравнить и еще больше уверовать в необычный талант Пиросмани, в его стихийно проявляющиеся с я формальное мастерство, — в далекой Мексике была создана картина «Мальчик и навьюченный дровами осел». Картина на эту тему есть и у Пиросмани. Сравнение этих картин Диего Риверы и Пиросмани дает богатый материал для размышлений о мастерстве благоприобретенном, выработанном и, так сказать, врожденном, дарованном свыше.

Я далек от мысли, что талант не нуждается в учебе, образовании, шлифовке, в работе над собой и совершенствовании мастерства. Просто мне представляется необходимым еще раз заострить внимание на том, что отсутствие специального образования не мешает созданию подлинных художественных ценностей. И мы

не можем не признавать талант, не отдавать ему должное даже в том случае, если ему не сопутствует специальная профессиональная подготовка. Талант остается талантом и без образования, образование же без таланта не в состоянии создать в искусстве ничего стоящего. Не кажется ли кому-нибудь, что Сальери менее образован, чем Моцарт?

В своей монографии Э. Кузнецов затрагивает вопрос отношения к творчеству Пиросмани Гуго Габашвили. С сожалением приходится констатировать, что к изложению этого вопроса автор подошел поверхностно и, возможно, несколько тенденциозно.

Личность Г. Габашвили, его деятельность и, в частности, его отношение к Пиросмани описываются, на наш взгляд, поверхностно.

Если в оценке творчества Пиросмани нами движет стремление к установлению истины, то такого же принципа следует придерживаться и по отношению к другой стороне. Э. Кузнецову же в этом вопросе явно не удается избежать предвзятости. Его симпатии к Пиросмани настолько велики, что на долю Габашвили остаются лишь отрицательные эмоции. Хотя в монографии об этом и не говорится прямо, тем не менее подразумевается, что одна сторона этой оппозиционной пары — талантливый самоучка, вторая — образованный, но бесталанный ремесленник. Это противопоставление еще усугубляется неслестным «определением»: «...Одаренному художнику достается место бродяги, а старательно-

му ремесленнику — место академика живописи». Мне лично представляется, что признания и уважения заслуживают оба художника.

Сегодня невозможно представить себе грузинскую живопись без Пиросмани, но это не значит, что для этого надо приносить в жертву Габашвили — художника, обучавшегося в Петербурге и Мюнхене. Даже если «пожертвовать» всеми другими работами Габашвили, останется портрет Моллы. Именно в этом портрете ярче всего проявился талант Габашвили как живописца и его родство с русской живописью, в частности с Репиным, которого он высоко ценил: «...Испанцы, англичане и даже французы поистине молодцы, но... Репину они все же уступают», — писал этот с легкой иронией упоминаемый Э. Кузнецовым «мюнхенец» в 1895 году. Таким образом, Габашвили, обязанный этим прозвищем молодым почитателям Пиросмани, оборачивается отверженным передвижников. И если сформулировать все вытекающие отсюда выводы, то окажется, что критика Габашвили — «среднеевропейский стиль живописи», «псевдоимпрессионистический эффект» и т. д. — привела нас к критике передвижников.

Грузинская живопись вправе гордиться тем, что в ее рядах значатся и европейски образованный Габашвили, и чудотворец-самоучка Пиросмани, и своеобразный, неповторимый в своей самобытности Какабадзе, и Гудиашвили. Эти совершенно разные художники в своей совокупности создают цело-

стную и многокрасочную палитру грузинской живописи. Э. Кузнецов пишет: «Габашвили пользовался репутацией самого твердого противника Пиросмани. Слухи, правда, не подтвержденные документами». Тем не менее документ существует, хотя и свидетельствует всего лишь о том, что Габашвили не обладал таким влиянием, как думает исследователь. Именно на том заседании, где Габашвили отрицательно отозвался о творчестве Пиросмани, другие члены Общества художников не поддержали его. Таким образом, ему не удалось склонить чашу весов на свою сторону и тем самым сыграть «роковую» роль в судьбе Пиросмани. На мой взгляд, это значительно смягчает его «вину».

И хотя Габашвили был против того, чтобы музей приобрел картины Пиросмани, мы не располагаем никакими свидетельствами того, что он и в дальнейшем пытался навязать свое мнение другим или воплотить его в какие-либо практические действия, направленные против Пиросмани. Поэтому вряд ли можно утверждать, что во всей этой истории Габашвили был «может быть, самым влиятельным». Нельзя согласиться и с тем, что решающую роль в неприятии Пиросмани сыграл тот факт, будто Габашвили был «знаменит, удачлив и барствен». Кстати, был ли он таким на самом деле? (Примечательно, что не только доброжелатели, но и недоброжелатели характеризуют Габашвили как человека чрезвычайно скромного, простого и порядочного, хотя



при этом фанатически верного своим принципам).

Совершенно бесспорно, что его отрицательное отношение к творчеству Пиросмани объясняется вкусами, школой, но не социальным положением или манерой собственного величия.

И если даже в какой-то период жизни он и имел материальный достаток, то обрел он его неустанным трудом. Ведь в одном из своих писем он сам говорит о том, что всю жизнь ему приходилось упорно и неустанно трудиться. В студенческие годы — как в Петербурге, так и в Мюнхене — Габашвили влачил полуголодное существование. Он рано покинул Петербургскую академию художеств, где его работы неоднократно отмечались серебряными медалями, и возвратился на родину. Он много работает, но продолжает испытывать недовольство собой. Это недовольство и приводит его в Мюнхен. Весьма показательно, что Габашвили принимают сразу на последний курс класса композиции — случай беспрецедентный в Мюнхенской академии художеств! Однако удовлетворения не приносит ему и Мюнхен. Причину этого объясняет в письме художнику Д. Гурамишвили сам Габашвили: «К величайшему моему огорчению, скажу правду, что у немцев такой застой в искусстве, какого не мог себе вообразить». Положение усугублялось тем, что Габашвили приходилось чуть ли не бедствовать. В другом письме к Д. Гурамишвили он пишет: «Я уже давно сижу без денег и где только возможно занимаю».

Как видим, творческая судьба Габашвили складывалась таким образом, что ему не удалось сохранить в искусстве свое собственное лицо и развитие качества, необходимые для того, чтобы понять и по достоинству оценить талант Пиросмани. Недаром художник сетует: «Очень строгое рисование ведет всегда к сухости и другим немалым недостаткам». И тем не менее это «строгое рисование» так вошло в его плоть и кровь, что иная манера для него уже органически неприемлема.

Кроме того, в этот период дальнейшие пути развития грузинской живописи рисовались воображению Габашвили совершенно по-иному. По его представлению, рано или поздно грузинская живопись должна была восполнить существенные пробелы и приблизиться тем самым к классическим образцам. Вот почему «открытие» Пиросмани и шумиха, поднявшаяся вокруг его творчества, не на шутку встревожили Габашвили — встревожили гораздо больше, чем других, поскольку он чувствовал большую ответственность за судьбы грузинского искусства. Положение осложнялось тем, что в 30-х годах творчество Пиросмани, Какабадзе и Гудиашвили подверглось резкой критике. В пылу полемики их противники нередко пользовались именем Габашвили, что окончательно утвердило за ним славу художника, не приемлющего творчество Пиросмани.

Сегодня настало время разобратся хотя бы в том, как относился к Пиросмани сам Габашвили и как использо-

валось его имя для того, чтобы обесценить творчество Пиросмани, Какабадзе и Гудиашвили, рецидивы чего неоднократно имели место еще в недавнем прошлом.

Недостаток нашего искусствоведения в том, что, несмотря на появление крупных монографий, не говоря уже о многочисленных специальных статьях, Габашивили так и не нашлось надлежащего места в грузинской живописи. Подчас его восхваляли и превозносили до небес, настолько теряя при этом чувство меры, что эти восхваления начинали отдавать аукционом. В этом не нуждается ни сам Габашивили, ни грузинское искусство. Нуждались в этом только те люди, которые, прикрываясь именем Габашивили, пытались расправиться с неугодными им художниками, не понимая того, что Пиросмани и других выдвинула на передний план сама эпоха, требования нового времени. А как необходимо было понять это вовремя!

Расхождение во взглядах по некоторым вопросам ни в коей мере не снижает ценности монографии Э. Кузнецова о жизни и творчестве замечательного грузинского художника, для изучения которых, по собственным словам автора, он «пересмотрел горы материала... беседовал с людьми, знавшими Пиросмани». Грузинским специалистам принадлежит немало эссе и статей об отдельных периодах жизни Пиросмани, о своеобразии его работ и значении его творчества в целом. Все это в определенной степени спо-

собствовало успеху монографии Э. Кузнецова.

В завершение хочу отметить с некоторым сожалением, что помещенные в не только прекрасно написанной, но и прекрасно изданной книге Э. Кузнецова цветные репродукции работ Пиросмани оставляют желать много лучшего, ибо они не дают возможности читателю, не знакомому с оригиналами, по достоинству оценить своеобразие живописи художника, ее колористическое решение и чисто формальное мастерство (что наряду с количеством созданных им картин свидетельствует о профессионализме Пиросмани). Например, в картине «Медведь в лунную ночь» луна у Пиросмани белого цвета — и это для него принципиально важно, — на репродукции же она имеет желтоватый оттенок. Изменены также тон неба и тональность выполненного способом контражура освещения дерева и медведя. Отличаются от оригинала и другие репродукции.

Монография Э. Кузнецова вносит весомый вклад в дело правильного понимания и изучения сложного и неповторимого искусства Пиросмани. Она не только доставляет эстетическое удовольствие, но и приближает нас к истине, помогая постичь своеобразие таланта художника и его непростой, нелегкий, но зато исполненный подлинного величия жизненный путь.

На мой взгляд, монография Э. Кузнецова заслуживает того, чтобы ее как можно скорее перевели на грузинский язык.

**Ладо АВАЛИАНИ**




# «ФИАЛКИ НА ГОРЕ»

ПЕРЕД нами книжка — «Фиалки на горе», которую на базе издательства «Мерани» выпустила в свет Главная редакционная коллегия по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии. Это — небольшой сборник грузинской народной поэзии в переводе на русский язык, осуществленном Яном Гольцманом. Это уже вторая по счету книга русских переводов грузинского поэтического фольклора, которую выпускает Главная редакционная коллегия. (Первая — «Три солнца» издана на базе издательства «Ганатлеба» в 1979 году. Переводчик — Наум Гребнев).

Все, кому известна специфика фольклорного текста и сложности его переноса из одной языковой системы в другую, непременно согласятся со мной, что каждый сборник такого рода является значительным событием в нашей культурной жизни.

В данном случае я не преследую цели научного рецензирования интересующего нас издания. Я просто хочу поделиться своей радостью (и надеюсь, я не одинок в этом своем чувстве) по поводу выхода в свет работы Яна Гольцмана. Возможно, проявление этой искренней радости более



всего и необходимо человеку, занимавшемуся столь сложным делом, чтобы мочь ему перевести дух. Я говорю так, потому что глубоко убежден — Ян Гольцман не удовлетворится «Фиалками на горе» и еще не раз порадует нас новыми переводами шедевров грузинского поэтического фольклора. Я знаю, он уже поражен этим «неизлечимым недугом», который зовется любовью к фольклору. Это та болезнь, которой, схватив ее однажды, болеешь уже всю жизнь. Это понимает и сам Ян Гольцман. Многочисленные и в высшей степени интересные встречи с ним дают мне право утверждать это.

Множество туристов исходило крутые тропы Кавказиони, и унесло с собой тепло воспоминаний, тепло негаснущее, поскольку забыть увиденную однажды красоту действительно невозможно.

Но одно дело смотреть на страну глазами туриста. Его взгляд поверхностен, определен первым и в то же время последним впечатлением; турист довольствуется внешними красотами, и потому душа народа остается непознанной, не постигаемой для него. Именно поэтому в его воспоминаниях в основном преобладают рассказы о кулинарных чудесах или пейзажные зарисовки.

Ян Гольцман приехал в Грузию не как турист. Он старался смотреть на открывшийся ему мир глазами народных стихотворцев. Поэтому его взгляд — всегда спокойный, серьезный, душевный. Со стариками —

хевсурами и сванами — он вел себя как достойный гость, который опасается хотя бы невольно нарушить какой-либо обычай, оскорбить веками складывавшиеся, священные традиции. Каждый его жест или движение выдавали глубокое уважение, почтение и любовь прежде всего к тому народу, чье творчество он хотел понять, к тем семьям, где слагались стихи и песни, к тем горам, ущельям и рекам, которые составляли пейзаж переводимых им стихов. Словом, он с достоинством вращался в этом поэтическом мире, ощущая себя персонажем той или иной баллады...

И затем, уже спустившись с гор, месяцами живя в Тбилиси, он допоздна засиживался у профессора Елены Вирсаладзе, затаив дыхание, слушал ее удивительные рассказы о грузинской мифологии, о героическом или охотничьем эпосе, о народных балладах или лирических песнях. Именно Еленой Вирсаладзе был выполнен тот блестящий подстрочный перевод на русский язык грузинских фольклорных текстов, которые Главная редакционная

коллегия передала для работы Яну Гольцману.

Он работал над ними несколько лет, не торопясь, основательно и, что главное, с большой любовью. Это чувствуется буквально в каждой строке, в каждом переводе. Возьмем, к примеру, совсем небольшой пшавских стих (плач в голос):

Иеремо, отмучился и ты?  
Остановился посох нищеты.  
Земля благословенная  
прикрыла:  
Теперь не устыдишься  
наготы.

Именно за эту любовь хочется выразить глубокую благодарность переводчику. И надеюсь, в далекой Карелии, в скромной хижине на берегу чудесного озера, где он проводит большую часть своей творческой жизни, ему вновь приснятся сны об Амирани, Дали, Бетнили или тавпараванском юноше, которые напомнят ему аромат фиалок, возшедших на снежной горе, и побудят снова заняться переводами грузинского поэтического фольклора.

Мы ждем этого.

Вахушти  
КОТЕТИШВИЛИ



# МИР ГРЕЧЕСКОГО РЫЦАРСКОГО РОМАНА

В 1979 году издательство Тбилисского университета выпустило в свет книгу А. Д. Алексидзе «Мир греческого рыцарского романа (XIII—XIV вв.)» (на русском языке). Ее переиздание в несколько расширенном варианте (предшествующее — на грузинском языке) во многом вызвано тем интересом и вниманием, которое привлекла как сама книга, так и ее тема. По сути дела это первое в нашей, а с такой широтой — и в современной научной литературе исследование византийского рыцарского романа как целостного жанра византийской литературы. Книгу отличают научная актуальность и проблемность, современный многоплановый комплексный подход, динамизм и увлекательность изложения, которые делают серьезный научный труд доступным и интересным для достаточно широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории как византийской, так и вообще средневековой, в том числе и грузинской культуры, ее «светского потока, поэтического и философского мира Руставели».

Нельзя сказать, что византийские рыцарские романы не исследовались и не изучались как в отдельно-

сти, так и в той или иной совокупности, но в целом для большинства предшествующих работ был характерен преимущественно формально-литературоведческий, сугубо филологический подход. При утвердившемся и восходящем еще к К. Крумбахеру жестком разделении византийской литературы на классическую и так называемую народноязычную рыцарские романы по этому принципу оказывались отнесенными к народноязычной литературе, в известной мере вырванными из изучения общего потока развития византийской литературы как целостного, единого явления. Автор не только справедливо критикует эти исходные принципы, он практически впервые преодолевает в своем труде традиционную ограниченность подхода, в результате чего его книга дает полнокровную картину развития рыцарского романа в неразрывной связи со всем движением византийской литературы в целом, показывает его многообразные корни и истоки.

В какой-то мере сама проблема существования и развития «рыцарского» романа как особого и самостоятельного и немаловажного жанра собственно византийской литературы до выхода рассматриваемой книги во многом оставалась спорной. Для части исследователей была характерна переоценка влияния на его становление и развитие занадлого рыцарского романа. Решению этой проблемы, выяснению своеобразия и самобытности византийского рыцарского романа в первую оче-

редь, и посвящен труд А. Д. Алексидзе, которому удалось показать его как органичный, собственный жанр византийской литературы, черты его «византийской» неповторимости и уникальности. Перед исследователем стояли задачи во многом более сложные, чем те, которые приходилось решать исследователям западного романа, перед которыми не стояли проблемы преемственности и традиций, демократических тенденций и влияния народноязычной литературы и, наконец, проблема иноземного влияния на само формирование жанра. Вероятно, этим во многом объясняется то, что именно византийский рыцарский роман оставался наименее изученным по сравнению с аналогичным жанром европейской литературы.

Великолепное знание автором византийского романа XII века позволило ему подойти к изучению зарождения и становления рыцарского романа XIII—XIV вв. во всеоружии знания его предшествующей эволюции, не только провести четкую грань между византийским любовным романом XI—XII вв., чем обычно, как правило, ограничиваются исследователи, и рыцарским XIII—XIV вв., но и показать в развитии первого зарождение и вызревание предпосылок появления рыцарского романа как нового жанра.

Книга не является, как мы отмечали выше, узкофилологическим, литературоведческим исследованием, чисто системно-типологическим. Если одной из силь-

ных ее сторон является рассмотрение зарождения и развития рыцарского романа на фоне и в связи с общим движением византийской литературы, то другой — выход и за эти рамки, рассмотрение «византийского» видения мира в XII—XIV вв. Книга не случайно названа не просто «Греческий рыцарский роман», а «Мир греческого рыцарского романа», ибо в ней одновременно тщательно исследуется как тот «мир», который нашел отражение в рыцарских романах, так и тот «мир», в котором они создавались. Книга перерастает из литературоведческого исследования в широкое историко-культурное полотно, картину понятий и видения мира византийцев XII—XIV вв. Это дает автору возможность не только показать несостоятельность существующих формальных методов изучения византийского романа — «логического», «логическо-эстетического» и др. и опровергнуть делаемые на их основании ошибочные выводы, но и всесторонне обосновать свою картину, свою концепцию развития византийского рыцарского романа.

Автор не только широко использует самые современные методы изучения структуры, морфологии рыцарского романа, теорию функций. Великолепное знание развития европейского рыцарского романа, французского рыцарского романа позволяет ему рассматривать развитие византийского на широком европейском фоне. Линия сопоставления, выделения общего и отличного проходит через всю



книгу, и в результате этого вырисовывается не только византийское своеобразие этого жанра, но и, в известной мере, и его место во всемирной литературе.

В первых главах книги удивительно удачно показаны те общие «медиевальные» основы, которые объективно привели к появлению византийского любовного романа XII в. и рыцарского XIII—XIV веков, как и поэзии трубадуров и рыцарского романа на Западе. Они явились результатом общих идейно - культурных сдвигов, порожденных укреплением «светской аристократии, которая к XI в. превращается в значительную самостоятельную силу и стремится к созданию собственных ценностей». С этой точки зрения само возрождение византийского любовного романа в XII в. при всем том, что он по существу представлял собой «имитацию античной модели», унаследовавшую все традиции прозаического эллинистическо - позднеантичного романа, при наличии множества черт, качественно резко отделяющих его от последующего рыцарского, выступает не просто как самостоятельное явление, а по существу как своего рода «первая» подготовительная стадия общего процесса зарождения средневекового византийского рыцарского романа.

В этом плане особое внимание привлекает I глава книги, где автор выступает против переосмысления символическо - аллегорической интерпретации любовного романа XII в. как чрезмерной «христианской аллегориче-

ской интерпретации и адаптации» его содержания. Он убедительно показывает, что эти тенденции стали характерными для последующего развития рыцарского романа XIV в., были связаны с его увяданием, а не подъемом, а для XII—XIII вв. была характерна связь романа с усиливающимися светскими тенденциями. В результате А. Д. Алексидзе удалось отчетливо показать, что «греческий рыцарский роман зарождался на собственно греческой основе» в результате трансформации и на основе эллинистическо - византийского любовно-приключенческого. Тем самым автор в известной мере решил и проблему западного влияния: «Романы XIII—XIV вв. являются не следствием утверждения в греческой литературе французского романа, а результатом процессов, происходивших в самой греческой литературе».

Выяснение генетической преемственности любовного романа XII в. и рыцарского не помешало автору четко обозначить их качественные различия, не только формальные, но чисто литературно - филологические. Он отчетливо показывает те собственно византийские основы, на которых складывался рыцарский роман как качественно новое явление ее литературы.

Для византийской литературы, естественно, с особой остротой встает вопрос не только о том, что роднит любовный роман XII и рыцарский XIV веков, но и о том, что их разделяет по характеру, а не по форме. Если их роднит апология

земной любви и красоты, «иммунитет» к религии и т. д., то разделяет в первую очередь пронизанность последнего рыцарско-феодалными традициями, отказ от «имитации античной модели». Для рыцарского романа характерна «отдаленность, неорганичность античной мифологии, значительное сокращение количества античных реминисценций», большая «реалистичность». Он впервые отразил мир современной ему феодальной действительности, близкую ему, а не «античную», как в романе XII в. историко-географическую среду. «Роман XIII—XIV вв. изображает современность». Автор подчеркивает и другие отличия рыцарского романа — большой «индивидуализм», известную тягу к реалистичности изложения, стремление к экономичности повествования, сведение к минимуму излишних деталей, тенденции к точности и конкретности, поиски объяснений, мотивировки действий и ситуаций.

В книге отчетливо прослеживается то общее, что роднит и объединяет византийский рыцарский роман с западной куртуазной литературой. Герои «греческих рыцарских романов, подобно героям западных куртуазных романов, — искатели индивидуальной судьбы». Их феодальный «характер» проявляется во внимании к их индивидуальным качествам, рыцарским достоинствам, индивидуальной гордости, индивидуальным чувствам, действиям и переживаниям, активной социальной позиции.

Автор очень тщательно

и тонко проводит линию разграничения типологической общности греческого и западного романов, выявляющейся следствием принципиальной общности развития феодального общества, его соответствующего этапа и прямого влияния и воздействия западного романа.

Удачно показаны в книге и отличия византийского рыцарского романа от западного при всей их принципиальной типологической общности, отличия, которые были порождены не столько и не только литературной традицией, сколько отличиями условий и традиций жизни, мировосприятия византийцев. Автор прослеживает и выявляет их в главах «Любовь — открытие греческого романа», «Единая плоть, единая душа», «Реальное и ирреальное, возможное и невозможное», «Эрос и агапэ», «Красота одушевленная и неодушевленная», «Время, смерть и судьба», «Смех и улыбка», «Социальные категории и литературные традиции. Враги и друзья». Эти главы представляют самостоятельный интерес для уяснения философских, этических и эстетических представлений и вкусов византийцев. В них отчетливо выступают «внутренние» отличия византийского рыцарского романа от западного. Автор удачно показывает отличия западного и византийского идеала любви, идеала, который был открытием греческого романа, а не французского XII в. Можно перечислить многие детали византийского видения мира, которые определяют типологические особенности и



византийского рыцарского романа, вплоть до «романтического» отношения к природе, не свойственного западному.

На фоне западного рыцарского романа достаточно отчетливо выступает больший «демократизм» византийского и, соответственно, узкий сословный аристократизм западной куртуазной литературы. В отличие от последней в византийских романах иногда выражается симпатия к простым людям. Сословная ограниченность византийского рыцарства, его сословный аристократизм не выражены столь отчетливо, и, вероятно, это в первую очередь определяется особенностями социальной структуры византийского общества, его известной «недофеодализованностью» по сравнению с западными образцами. Думается, что в равной мере это относится и к концепции дружбы, которая, по мнению автора, выражает с «почти ренессансной силой» ее индивидуальный характер «бескорыстной, чистой дружбы». Вероятно, следовало бы более четко обозначить, что автор подразумевает под понятиями «ренессансный» и «предренессансный» для Византии, существуют ли для него различия между этими понятиями применительно к Византии. Иногда создается впечатление, что автор исходит из некоторого общего понятия о ренессансе, так сказать, «западного». Между тем А. Д. Алексидзе во многих разделах своей книги убедительно показывает, что некоторые черты, которые для западной культуры

и литературы могут, безусловно, рассматриваться как «предренессансные», зародыше «ренессансные», для Византии, с ее отсутствием перерыва в культурно-исторической традиции, не могут быть оценены именно как таковые. Византийская культура раннего средневековья (X — XII вв.), как и мусульманская, была более широкой, имела более мощные и многообразные светские традиции. А. Д. Алексидзе совершенно справедливо ставит проблему близости некоторых типологических черт византийской культуры, идеалов византийского рыцарского романа с соответствующими чертами восточной, арабо-мусульманской культуры. Некоторые из них он прослеживает, но главная его задача — показать своеобразие жанра византийского рыцарского романа, его отличия от западного. Тем не менее книга остро проблемна, ибо она действительно ставит проблему сопоставления аналогичных жанров и идеалов византийской и восточной литературы.

Выявление А. Д. Алексидзе специфики «мира» византийского рыцарского романа во многом облегчает дальнейшее выяснение самобытности и своеобразия развития этого жанра в восточнохристианских литературах. Автор убедительно показывает как черты сходства, так и отличий в развитии этого жанра в грузинской литературе, в которой некоторые идеалы были более близки и сходны с византийскими, другие — ближе к западным рыцарским

идеалам. В этом смысле работа несомненно дает новый толчок к изучению мира идеалов и представлений Ш. Руставели, его оригинальных, национальных черт.

Большим достоинством книги является то, что жанр византийского рыцарского романа раскрыт не просто в его своеобразии, но и, максимально возможно, в развитии. Читатель четко прослеживает, как складывается и достигает расцвета чисто средневековый «мир» этого романа, с его полнокровными идеалами любви, красоты, счастья и как начинается его трансформация, угасание. В книге убедительно показана общность эволюции западного и византийского рыцарского романа, рост символическо-аллегорической, религиозно-христианской интерпретации, трансформации идеалов земной любви и счастья в идеал религиозного поклонения — все то, что положило начало упадку подлинно рыцарского романа, привело его в тупик, сделало невозможной его дальнейшую прогрессивную эволюцию. В то же время

автор четко показал его место в зарождении новогреческой литературы, впервые в более полной и органичной связи с общей эволюцией всех потоков византийской литературы. Книга является несомненным вкладом не только в изучение данного жанра, но и общих, в том числе и методологических проблем развития византийской и новогреческой литературы, она поднимает широкий круг проблем византийского «мироведения» и «мироощущения», подводит к пониманию некоторых черт и особенностей византийского гуманизма. Проблемно заостренная, увлекательно написанная, она не только привлечет к себе внимание специалистов и широкого круга читателей, но и даст существенный импульс новым исследованиям в области истории византийской литературы и культуры, ее места во всемирной литературе и культуре, ее взаимосвязей с культурой и литературой других народов, Запада и Востока.

**Георгий КУРБАТОВ,**  
доктор исторических наук



# ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КАК СПОСОБ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ

КНИГА А. Ткемаладзе «Вопросы эстетического познания» представляет собой дальнейшую разработку методологически верных принципов гносеологического объяснения художественных явлений. В своей книге А. Ткемаладзе высказал идею, согласно которой искусство и эстетическое отношение характеризуются на основе понимания практики как способа социального бытия человека. Особенно важно, что он сумел не просто высказать эту идею в общем виде, но и модифицировать ее в точной зависимости от аспектов проблем. Поэтому не случайно автор ставит ряд новых вопросов, которые раньше в рамках гносеологического подхода не поднимались. Их решению соответствуют в книге такие разделы, как «Сравнение в эстетическом абстрагировании», «Анализ и синтез в эстетическом абстрагировании», «Эстетическое суждение как логическая форма эстетической оценки» и др.

Прочтение искусства че-

Ткемаладзе А. А. Вопросы эстетического познания. «Хеловнеба», Тбилиси, 1982.

рез практику, составляющую сущность социальной формы движения материи, придало художественности как главному признаку искусства обоснованность и глубину. По А. Ткемаладзе — через художественное как вариант проявления духовно - практического отношения к действительности реализуется его родовая сущность, и это наносит удар по различным буржуазным теориям, фальсифицирующим искусство, уводящим его от гуманистического служения человечеству в формалистические выверты или к манипуляциям с человеческим сознанием в рамках массовой культуры.

В выведении специфики искусства как гносеологического феномена из сущности бытия человека через практику заключается, на наш взгляд, глубокое и принципиально важное развитие положений К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина о природе искусства как средстве, помогающем освобождению человека от влияния антагонистических противоречий.

Заслуга автора рассматриваемой монографии, по нашему мнению, не только в развитии этой общей идеи, но и в оригинальном и детализированном анализе, подтверждающем ее. Работа А. Ткемаладзе представляет собой методологически ценное сочетание общепhilosophического, социологического, эстетического и психологического подходов, которые позволили по-новому объяснить феномен эстетического познания.

Единственное возраже-

ние, которое возникает по поводу концепции А. Ткемаладзе (при общей ее поддержке), состоит в том, что автору не удалось до конца найти достаточно точные критерии различения эстетического и художественного (что нельзя в принципе ставить в упрек, поскольку данное различие в науке еще и не найдено).

В целом концепция А. Ткемаладзе отличается логической стройностью, полнотой рассмотрения проблемы (от онтологической и психологической основ

эстетического познания до форм эстетической оценки). Работа А. Ткемаладзе представляет собой эстетически ценное, обогащающее методологию эстетических проблем, исследование, которое вносит существенный вклад в развитие науки.

**А. ЕРЕМЕЕВ,**  
заведующий кафедрой эстетики и научного атеизма Уральского государственного университета им. А. М. Горького, доктор философских наук, профессор.

## Роман о жизни грузинских шахтеров

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Мерани» выпустило в свет вторую книгу романа Рамаза Кобидзе «Листья папоротника».

Как и в первой книге, основными персонажами являются грузинские шахтеры, достойные хранители и продолжатели славных героических традиций грузинского рабочего класса, видящие свое призвание в честном, самоотверженном труде и активно борющиеся с

чуждыми нашему образу жизни негативными явлениями.

Труд шахтера тяжел и опасен. Но беллетрист не ограничивается показом трудностей профессионального порядка. Главные персонажи романа переживают сложности иного рода. Жизненные пути Джибраила Хелтуплишвили и Ирины Карцивадзе, Теймураза Арджеванидзе и Натии Авалишвили отмечены острым драматизмом. Свое развитие эти характеры получают в борьбе за преодоление трудностей жизни.

Джибраил Хелтуплишвили не искал больших должностей, никогда не стремился к власти. Но и легкая жизнь была чужда ему — труженик в полном смысле этого слова. Трудовую жизнь начал рядовым шахтером и был очень доволен судьбой.

Рамаз Кобидзе. Листья папоротника. Кн. II, «Мерани». Тбилиси, 1983.



Благодаря своим личным достоинствам — трудолюбию, честности, принципиальности, бесстрашию, доброте и отзывчивости — он выдвинулся в начальники участка. Джибраил возглавил большой коллектив шахтеров, несмотря на то, что у него не было специального образования. Он вывел отстающий участок в передовые. Вся шахта гордилась его участком, да и не только шахта, весь шахтерский город, вся республика. Но именно тогда, когда Джибраил окончательно уверовал в собственные силы, когда, казалось, ничто не могло нарушить гармонии ни в производственных, ни в семейных отношениях Джибраила, его безо всякой видимой причины снимают с должности. К этому прибавляются и нелады в семье. Порой кажется, что Джибраилу будет нелегко вернуть расположение жены, восстановить в семье мир и согласие.

А все произошло потому, что у Джибраила нет диплома и учиться уже поздно.

Свои трудности у жены Джибраила — Ирины Карцивадзе. Злые люди нашли необходимым сообщить ей, что она не родная дочь своих родителей, а приемная. Это больно ранило самолюбивую Ирину. Отныне каждый ее шаг продиктован стремлением искупить вину своего «незаконного» происхождения и доказать всем, что она — Ирина Карцивадзе — достойный и полезный член общества. Ирина совершает множество ошибок. С гибелью Джибраила она лишается главной в жизни опоры и вынуждена

в одиночку бороться за счастье своего ребенка.

Трудно сложилась жизнь и у Натии Двалишвили. Она разочаровывается в самом близком человеке — матери, которую всегда считала образцом доброты, порядочности, интеллигентности, верности покойному мужу и высоким семейным традициям. Натия теряет веру в людей, заводит дружбу с городскими хулиганствующими бездельниками — отпрысками состоятельных семей, отталкивает от себя Теймураза Арджеванидзе — молодого человека, которого, может быть, любит по-настоящему. Убийство кладет конец дружбе с хулиганами. Потрясенная разыгравшейся трагедией Натия выходит замуж за Номали Дихаминджия, но выходит не по любви. Кончается тем, что Натия уходит от Номали. Но поедет ли она в шахтерский город к Теймуразу Арджеванидзе? Хватит ли у этой избалованной девушки сил окончательно порвать с привычной с детства мещанской средой?

Автор не дает окончательного ответа на эти вопросы.

На первый взгляд, жизнь молодого горного инженера Теймураза Арджеванидзе складывается благополучно. Он закончил институт с отличием, поехал в шахтерский город, получил долюжность, приступил к работе. Единственное, что его беспокоит, — это разлука с Натией. Но на поверку все оказывается гораздо сложнее. Должность начальника эксплуатационного участка шахты Теймуразу явно не по плечу. Это сознает и он

сам, и рядовые шахтеры. В результате нервной обстановки, создавшейся на участке вскоре после назначения Теймураза, в забое гибнет шахтер.

Трудно сказать, правильно ли поступил директор шахты Сардион Рачвелишвили, оставивший Теймураза на его должности даже после этого трагического случая. Но бесспорно то, что Теймуразу сейчас куда труднее завоевать доверие шахтеров. Молодой инженер не щадит своих сил. Ему бескорыстно помогают опытные шахтеры, лучшие люди участка. Но смерть старого крепильщика Герасимэ Цнобиладзе окончательно убеждает Теймураза в необходимости перейти на более скромную должность.

К главным персонажам романа следует отнести и директора шахты Сардиона Рачвелишвили. Это человек, отдавший всю жизнь трудной шахтерской про-

фессии, многоопытный знающий. Тем более трагично своими последствиями его решение назначить Арджеванидзе на ответственный пост начальника участка. Сардион будто и сам предвидел последствия своего шага, правда, не полагая, что они будут столь трагическими. Но иного выхода у него не было. Здесь вплотную встает проблема коренной перестройки подготовки молодых специалистов.

Образ Сардиона Рачвелишвили сложный и многоплановый. Отношение к Антимосу Чахунашвили, тунеядцу и рвачу, многое разъясняет в его характере руководителя.

«Листья папоротника» — роман о нашей жизни, о наших проблемах, своего рода школа серьезного отношения к жизни. В этом — одно из его основных достоинств.

**Шалва ГОЗАЛИШВИЛИ**





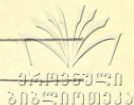
На книге, подаренной Иосифу Нонешвили, известный русский критик Виктор Викторovich Гольцев написал по-грузински: «Моему доброму молодому другу, с любовью. Москва, 12 декабря 1952 г. В. Гольцев».

В. В. Гольцев был частым гостем в Тбилиси, бывал в разных уголках Грузии, дружил со многими выдающимися грузинскими писателями, радовался их успехам. И, конечно же, с большим интересом следил за появлением каждого нового поэта и с присущей ему взыскательностью выявлял подлинные таланты. Он интересовался творчеством молодых грузинских писателей, поддерживал их, знакомил с их творчеством русского читателя.

Предлагаемые письма В. Гольцева из архива Иосифа Нонешвили проникнуты чувством большой искренней любви, заботы и уважения к молодому поэту. Письма относятся к 1947—1955 годам, последнее написано за два месяца до смерти Виктора Викторovichа.

Иосиф Нонешвили не прекращал дружеских отношений с супругой В. Гольцева Юлией Сергеевной и до последних дней жизни проявлял заботу о ней.

- ДОКУМЕНТЫ
- ПИСЬМА
- ВОСПОМИНАНИЯ



## СТРАНИЦЫ ДРУЖЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ

Дорогой Иосиф!

Вернувшись в Москву, я сразу окунулся в работу. Пришлось руководить всей агиткомпанией по выборам в ССП, выполнять немаловажные задания ЦК. Литературными и редакторскими делами почти два месяца я занимался очень мало.

Теперь я разобрался в материалах для нового сборника стихов в русских переводах. Он может получиться очень хорошим и интересным, но предстоит еще большая работа. Мнение и мое, и редакции «Молодой Гвардии» (как тебе уже официально сообщилось еще в сентябре), что необходимо добавить новые стихи на темы мирного строительства. Поменьше эстетических украшений! Никаких церковных колоколов, «божественных» образов, нимбов! Побольше живого не «перелитературного» ощущения живой жизни!

Прошу тебя воспринять снсва мои слова не как нечто педантическое, а как доброжелательный совет старшего товарища. Учи все это обязательно.

Ездил ли ты на ХрамГЭС? Видел ли ты за последнее время что-либо знаменательное, над чем доблестно трудится народ? Над чем серьезно работаешь?

Обязательно отвечай мне, сообщи литературные новости и присылай свои новые стихи. Иначе — честное слово! — я перестану заботиться о твоей литературной судьбе.

Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, радости, новых творческих успехов. Моя Юлия Сергеевна просит передать поклон.

Твой Виктор Гольцев.

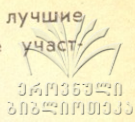
Москва, 5 декабря 1947 г.

Дорогой товарищ Иосиф!

Грузинская комиссия ССП СССР, приступив к работе, наметила устройство в Москве творческого вечера, посвященного Вашей поэзии и поэзии Реваза Маргиани. Мы хотим приурочить этот вечер к той творческой конференции молодых писателей, на которую Вы оба должны приехать. По поводу этого вечера мы уже обратились с письмом в Президиум ССП Грузии, но необходимо, чтобы и Вы сами проявили активность. Мы просим Вас обеспечить срочную присылку нам своих книг стихов на грузинском языке, всех имеющихся переводов, подстрочников и всех серьезных критических высказываний о Вашем творчестве. Немедленно составьте и пришлите нам перечень тех своих стихов, которые Вы сами считаете наиболее удачными и характерными. Мы можем и сами заказать в Москве ряд подстрочников. К ра-



боте над поэтическими переводами мы хотим привлечь лучшие поэтические силы. Из молодых поэтов выразил желание участвовать в этой работе Ал. Межиров.



Итак, ждем от Вас быстрого делового ответа.

Крепко жму Вашу руку и желаю новых творческих успехов. С большим удовольствием вспоминаю о нашей совместной поездке в Месхетию.

Уважающий Вас (Виктор Гольцев).

Москва, 9 января 1947 г.

Дорогой Иосиф!

Вчера я сдал рукопись Вашей книги стихов в издательство «Молодая Гвардия». Я все собрал и отредактировал, кроме трех переводов П. А. Ангокольского...

Книга получилась очень хорошая, свежая, оригинальная. Боюсь только, что издательство несколько подрежет ее, ибо я превысил все нормы (не считая «Домика Лермонтова», «Братьев Леселидзе», «Приезжайте в Грузию» в ней набралось больше 1900 стихострок!) Самые лучшие переводы принадлежат Н. А. Заболоцкому: 1) «Гори, 21 декабря», 2) «Новый год в Густави», 3) «1948», 4) «Поминание И. Чавчавадзе в Кахетии», 5) «Моя Кахетия!..» Ряд новых переводов хорошо сделан Арс. Тарковским, Ник. Чуковским и Вероникой Тушновой. Особенно ей удалось «Говорят, что не трогают пахаря змеи»... Считаю, что Вам очень повезло с переводами и что Ваш первый дебют в Москве будет удачным.

Сборник я разбил на циклы. Так как Вы снова не ответили мне и не дали названия книги, я назвал ее просто «Стихотворения». Содержание посылаю Вам.

Не исключена возможность, что через недею я на несколько дней приеду по делам в Тбилиси.

Чувствую себя довольно плохо, моя гипертония дает себя знать бессонницей, головными болями и одышкой. Надо бы отдохнуть, да нельзя оторваться от срочных дел. В мае собираюсь съездить на юбилей Навои.

Моя Юлия Сергеевна просит передать Вам привет. Желаю Вам новых творческих успехов.

Получение этого письма подтвердите, талантливый, но непутевый кахетинец.

Ваш Виктор Гольцев.

Москва, 25 февраля 1948 г.

Дорогой Иосиф!

Я думал, что Вы приедете в Москву на совещание по сати-  
ре и юмору. Жаль, что не приехали.

Как поэма? Как стихи?

Числа 12—15 рассчитываю быть в Тбилиси. Целый месяц буду путешествовать по стройкам и колхозам. На пленуме ССП СССР, который состоится в начале декабря, будет стоять вопрос о грузинской литературе. Подготовка поручена мне.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш В. Гольцев.

1 июня 1949 г.

Дорогой Иосиф!

Мне совершенно непонятно Ваше молчание. Почему Вы не отвечаете на мои телеграммы? Почему не присылаете недостающие подстрочники?

На случай, если Вы не пройдете на премию в этом году, надо подготовить хорошую книгу стихов, чтобы выдвинуть Вас в будущем.

Я совсем болен, прибавил и диабет, гипертония усилилась. Пришлось ставить мне пиявки. 28-го уезжаю с Юлией Сергеевной в дом отдыха. Ехать на Украину категорически отказался, несмотря на упрасивания.

Был в Москве у тов. Мчедлишвили Д. Он был со мной чрезвычайно любезен, оказался в курсе моих работ. Пригласил на ваш съезд. Но я едва ли поеду.

От редактирования книги Леонидзе я отказался. Вероятно, откажусь и от Чиковани.

Как Вы поживаете? Большой привет Медее и Александру Иосифовичу. Ваша книга прошла все контрольные инстанции и пошла в производство.

Желаю новых успехов.

Ваш В. Гольцев.

Деньги за перепечатку перешлите мне (не к спеху).

23 апреля 1954 г.

Мой молодой друг Иосиф!

Несмотря на то, что Вы сами чуть все не напортили с Вашей книгой, теперь все снова в порядке. Отдел «Братская семья» пополнился: «Военно-груз. дорога» (Перев. Межирова), «Песня о дружбе» и «Воспоминания о Д. Гурамишвили» (Перев. Е. Ели-



сеева), отдел «Разные стихотворения» дополнен стихотворениями «Маяковскому» и «Бабина». Отрывок из поэмы Межиргов не переведен, но и он маловат — рядом с «Повестью об одной девушке».

Секретариат и лично Н. С. Тихонов настаивают, чтобы я ехал к Вам на съезд. А я боюсь приехать.

Привет Медее и Саше.

Ваш В. Гольцев.

14 июня 1954 г.

Дорогой Иосиф!

В прошлую пятницу я подписал корректуру Вашей книги. Новые переводы набраны и поставлены на свои места, в примечания я внес все исправления, как Вы хотели. Книга, по моему мнению, получилась прекрасная.

У меня к Вам просьба: 1) прислать мне номер «Зари Востока» от 11 июля с речью В. П. Мжаванадзе. Я его не получал по почте; 2) купите мне и пришлите «Историю и восхваление венценосцев». (Тбилиси, изд. Академии наук Грузии, 1954 г.)

Большой привет Медее и Александру Иосифовичу.

Ваш В. Гольцев.

17 июля 1954 г.

Дорогой Иосиф!

Пишу Вам из санатория МК КПСС в Звенигороде. Мне как будто бы стало лучше, исчез диабет, снизилось давление. Но на днях у меня случился т. н. спазм сосудов головного мозга. Меня хотят перевести в неврологическое отделение Боткинской больницы.

Вероятно, это конец.

Передайте привет всем грузинам. Желаю Медее вместе с Сашей и Вам всего наилучшего.

Ваш старый друг Виктор Гольцев.

Звенигород, 24 февраля 1955 г.

Не забывайте мою Юлию.

Публикация Медееи НОНЕШВИЛИ



Русудан ЗАЙЦЕВА-  
ШЕРВАШИДЗЕ

## РАЗУМ И СЕРДЦЕ— РОДИНЕ

●

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ  
ПЕРВОГО АБХАЗСКОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ХУДОЖНИКА А. К. ШЕР-  
ВАШИДЗЕ-ЧАЧБА

●

АЛЕКСАНДР  
стантинович Шерва-  
шидзе-Чачба

из крупнейших декораторов дореволюционной России. Позже — декоратор русского балета Дягилева, странствовавшего по Европе. Художник, о котором писали газеты многих стран мира. И при этом — в высшей степени скромный человек...

Бескорыстный, далекий от стремлений к славе и наживе, он всецело посвятил себя искусству, прожил долгую, истинно трудовую жизнь, а к концу ее остался без средств к существованию. Умер он одиноким, всеми забытым стариком вдали от родины.

Бережно, на протяжении полувека, хранил он все, что напоминало ему родную Абхазию, лелеял мечту о возвращении.

Я побывала в обстановке, в которой жил он, соприкоснулась с его внутренним миром.

Перелистывая страницы его записных книжек, нельзя не почувствовать его горячую любовь к родине, к землякам, его непроходящую тоску по ним.

Я хочу рассказать о своем отце, призвав на помощь его письма, многочисленные записи в книжках, которые он постоянно просматривал, судя по припискам и поправкам, сделанным уже дрожащей старческой рукой.

Мои родители поженились в 1905 году в Париже. Рано оставшись сирот-



той, моя мать Екатерина Васильевна Падалка воспитывалась в семье дяди по матери — Саввы Мамонтова.

Окончив гимназию с золотой медалью, она поехала в Париж продолжать образование.

Там она и встретилась с А. К. Шервашидзе, совершенствовавшимся в живописи у профессора Фернанда Кормона. Вскоре, после смерти первого сына, в 1907 году, они уехали в Петербург.

Отец работал в Марининском государственном театре декоратором.

Здесь, в Петербурге, родились у них сын и дочь. Прошло время, и отец ушел из семьи и жил отдельно. Тогда он и познакомился с артисткой Бутковской Н. И.

Брат мой был предрасположен к туберкулезу, и по совету врачей мать поехала с нами в Феодосию (в город, где родился отец).

Мы с братом встречались с отцом и Бутковской в Коктебеле на даче поэта - художника М. А. Волошина, друга моего отца.

Последняя наша встреча состоялась в Феодосии в 1920 году.

По приглашению С. П. Дягилева, путешествовавшего с русским балетом по Европе, отец с Бутковской выехал в 1920 году в Лондон, затем в Париж.

Оттуда он писал нам, по возможности материально поддерживал в голодные двадцатые годы.

В 1929 году по просьбе отца моя мать оформила и выслала ему свидетельство о разводе.

Со временем переписка оборвалась. Так разошлись наши судьбы.

Моя мать, энергичная, трудолюбивая, мужественная женщина, пройдя через многие трудности, воспитала нас и сумела сохранить в наших сердцах любовь к отцу и уважение к его таланту и творчеству.

Она писала отцу в 1931 году из Абхазии (это письмо он сохранил!): «...хотя задача была непосильная, я выполнила ее... Все мы работаем над созданием нового мира... жизнь кипит, строительство идет быстрым темпом, и мы все трое рады, что участвуем в этой работе...»

Екатерина Васильевна Шервашидзе, преподававшая в Сухумском госпединституте иностранные языки, умерла в 1955 году, не зная ничего о судьбе отца, беспокоясь о том, что его работы остаются за рубежом.

А в 1958 году отец писал мне с теплотой о матери: «...Твоя мать — моя законная жена, была выдающаяся женщина по уму и образованию научно, в высшей степени глубоко нравственная, благородная, мужественная женщина... Бог ее наказал, связав со мной.

Мое оправдание только в том, что я и она были различного круга люди — она ученая, а я — художник... О твоей

покойной матери живут в моей душе самые лучшие воспоминания и чувства»...

К сожалению, этого она уже прочесть не могла. Брат мой Константин плавал помощником капитана

Черноморском пароходстве, умер в 1943 году.

Остались мы с отцом одни — он во Франции, я — у себя на родине, ничего не зная друг о друге, пока случайность не помогла мне найти его.

В 1956 году искусствовед О. Д. Пиралишвили в статье, посвященной творчеству А. К. Шервашидзе, опубликованной в грузинском журнале «Дроша», сообщил о его смерти.

Этот журнал в 1958 году попал в руки моего отца, проживавшего тогда в Каннах, во Франции.

Тронутый вниманием соотечественников к его творчеству, он ответил благодарственным письмом: «...Исправляю небольшую неточность: я еще жив, к моему удивлению, не болею и живу совершенно один... Всё, что имею, готов отдать для музеев в Тифлисе и Сухуме...»

Вскоре в Тбилиси получили более 500 его работ. Он писал: «...Я все это время был озабочен и затем занят упаковкой моих рисунков и некоторых холстов, а также и многих гравюр, служивших мне материалом для работ по театру... Эта работа заняла у меня не один день и несколько утомила меня. Но мое здоровье вполне абхазское, — я уже пришел в нормальное состояние...»

Так я нашла отца. Между нами завязалась переписка. Отцу тогда был 91 год.

В первом же своем письме он выразил желание вернуться, он написал:

«Я бы охотно приехал на родину. Все мои симпатии и желания благополучного продолжения жизни тебе и твоему семейству посылаю и всем жителям нашей Великой Родины, достигшей Величия и Славы».

Из его писем я узнала о его дальнейшей судьбе после разлуки с нами.

«...Из Парижа я уехал в 1939 году, как началась война. Так как я работал всё время моей жизни за границей для балета С. П. Дягилева, а затем и для его преемников, то не изменил своей профессии декоратора театра. Между делом писал портреты и т. п. Работать перестал после кончины жены моей Натальи Ильиничны. В 1948 году изредка еще кое-что делал для балета в Монте-Карло, но это были пустяки. Уже три года не беру ни кисти, ни карандашей в руки...»

«...Вся моя жизнь прошла в стороне от реальной жизни, потому что я много работал в театре и не знал другого



воздуха, ни другого мира, как мир сцены и мир мастерской декорационного зала. Я думал лишь о том, чтобы лучше прошел спектакль и чтобы артистам было хорошо на сцене, чтобы больше было им аплодисментов. Я думал о работе и очень мало о себе. Поэтому, когда закончилась моя карьера декоратора, я оказался без средств...»

«...Работа моя была, несмотря на то, что я был шеф этих работ, такая же физическая, как моих помощников. Вспоминаю с удовольствием эти многие годы...»

«...Я бы хотел, чтобы знали, что я с 1920 года работал очень много для балетов С. П. Дягилева по эскизам художников Франции — Пикассо, Дерена, Брака, художников нового направления в живописи... Это давало мне возможность выполнять любимое мною занятие — написание своей рукой больших холстов, т. е. декораций...»

Я стала хлопотать о переезде отца в Сухуми, но все мои усилия оказались безрезультатны. Ему, перешагнувшему за девяносто лет, хлопоты о переезде на родину, связанные с выездом из Канн в Париж, оказались не под силу, никто ему там не помог.

В 1964 году он перенес сложную операцию, после которой три года находился в госпитале, и вопрос о его переезде стал неразрешим.

Последние годы своей жизни он провел в пансионе для престарелых в Монте-Карло.

В августе 1968 года у меня появилась возможность выехать во Францию.

Я приехала в Париж 25 августа, а 20 августа Александр Константинович Шервашидзе-Чачба был похоронен в Ницце на русском кладбище.

Можно ли описать мое горе?! Я надеялась, приехав, приласкать и обогреть любимого одинокого отца, но смогла только прикоснуться к холодному камню его могилы.

Живя в Сухуми в 1917-19 гг., глубоко переживая культурную отсталость маленькой Абхазии, томящейся под гнетом царского режима, отец мечтал о ее будущем, о развитии культуры, об издании литературы на абхазском языке, о переводах на абхазский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Гоголя, Джека Лондона, об издании истории Абхазии, народного календаря, учебников, словарей, об организации музеев, о создании театра, возобновлении народных обычаев и многом другом.

Все эти мысли нашли отражение в его записных книжках.

Проблемы народного образования, просвещения и эстетического воспитания были в центре его внимания. Он не только набрасывает самостоятельные планы просветительской работы, которые, как он понимал, могло решить только государство, но и стремился объединить для этих целей деятелей культуры Абхазии и ученых с мировым именем, таких как Н. Я. Марр и И. А. Орбели.

Понимая великую практическую просветительскую миссию Д. И. Гулиа, А. К. Шервашидзе-Чачба служил посредником по этим вопросам между ним и Н. Я. Марром.

В его записях 1918 года можно прочесть:

«Вопросы Н. Я. Марру.

Гулия просил напомнить Н. Я. Марру, что они ждут обещанную абхазскую грамматику.

Он же просил справиться у него же об участии посланного ему материала устной литературы.

Посвятить нужно Марра в план моих изданий для абхазов.

Основание национальной библиотеки.

Музей в бывшей тюремной части крепости.

Дом искусств (музыкальные курсы, драматические, школа живописи, ваяния и зодчества, школа танца)».

Через несколько страниц снова:

«Вопросы Н. Я. Марру.

Хрестоматия на абхазском языке.

Можно ли печатать в типографии Академии наук абхазский текст?» «Можно» — написано А. К. Шервашидзе-Чачба.

И опять:

«Вопросы Н. Я. Марру.

Гулия просил скорее:

хрестоматию, географию, историю».

И тут же:

«Для хрестоматии: материалов народной литературы много у Чочуа в Сухуме, которыми исключительно и пользоваться (Марр)».

Узнав из моих писем, что Абхазскому государственному музею присвоено имя Д. И. Гулиа, отец писал в 1958 году:

«Мне очень приятно, что в Сухуме есть Музей имени Гулиа, я его очень хорошо помню, он был очень образован-



ный и одаренный человек, его очень ценил и любил покойный Н. Я. Марр — хотел бы знать, что в Абхазии помнят Николая Яковлевича Марра, сделавшего так много для Абхазии».

Судя по записям, создание истории Абхазии А. К. Шервашидзе-Чачба считал важнейшей необходимостью.

«История Абхазии, одна научная, другая популярная; первая может быть написана в скором времени учеником Н. Я. Марра — американским молодым ученым.

За библиографию нужно приняться тотчас же, даже если нельзя будет издать, то и в рукописном виде она будет крайне полезна и нужна настоятельно».

Больше всего, видимо, занимала его мысль о первых необходимых практических шагах в области народного просвещения.

Вот его записи по этому вопросу:

«Печатное дело.

Прежде всего:

История Абхазии.

География общая.

История Кавказа.

Азбука с картинками из жизни абхазской народной.

Народный календарь.

Сказания, сказки, предания, песни, поговорки и пословицы, заклинания абхазского народа.

Биографии с портретами выдающихся абхазских людей.

Перевести можно Дж. Лондона — рассказы, наиболее простые по содержанию, в них энергия, находчивость, слово и дело — одно, борьба и преодоление опасности. Л. Толстого — «Кавказский пленник», «Набег», «Хаджи-Мурат», Лермонтова прозой — «Измаил-Бей», «Мцыри» и т. д.

«Тарас Бульба» — Гоголя.

«Поход аргонавтов».

«Я бы выпустил крошечный сборник, посвященный отрывкам из Лермонтова, Пушкина, под заглавием кратким, но легко и сразу дающим понять, о чем идет речь».

А. К. Шервашидзе-Чачба понимал громадную роль культуры и искусства в возрождении абхазского народа, он писал:

«Страна, не имеющая искусства, не имеет и будущего»;

дух ее граждан мертв и жизнь их есть только тление плоти».



Его записи о создании музеев:

«Вариант музея.

1. Абхазский национальный музей.

Здание в крепости.

История. Этнография. Археология. Картинная галерея: виды Абхазии; портреты деятелей Абхазии; картины из жизни, истории и быта Абхазии. Искусство народа. Библиотека научная по истории, этнографии, археологии. Литература абхазского народа.

2. Музей изящных искусств и национальная библиотека. нижний этаж: библиотека. Кабинет эстампов.

Верхний этаж: галерея картин. Искусство Азии. Античное искусство.

Еще вариант музея.

I — искусство Европы:

живопись, скульптура, гравюра, мебель, фарфор, оружие, ткани.

II — Национальная публичная библиотека.

III — Абхазский национальный музей.

Три здания в два этажа. Второе и третье — в крепости. Первое — в городе на теперь пустой площади за Шервашидзеvской улицей».

В одной из записей видно, что Н. Я. Марр не только поддерживал идею создания этих музеев в Абхазии, но обещал и помощь Академии наук:

«Н. Я. Марр обещал мне в случае образования библиотеки музея все издания Академии наук, а также шрифты.

Одобряет издание календаря на абхазском языке с перечислением всех языческих молений и обрядов».

Далее в своих записях отец высказывает идею создания народного театра — общедоступного.

«Театр на воздухе в Лыхнах на поляне.

Думаю, что некоторые пьесы можно давать без декораций. Возможно ли переложение Мольера, очень упрощенное и сокращенное? Это смешное, другое — серьезное, оставляющее след воспитательного значения доблести, исполнения долга, исполнения слова, защиты слабого, честность, прямота.

Другой театр — странствующий и, может быть, самый интересный».



Много записей посвящено народным театрам Франции, Италии, Германии, Англии. Это записи-раздумья о выборе правильного решения в культурном строительстве родного края.

«Во Франции еще сохранились обломки старины — средневековые мистерии, фарсы, народные игры, танцы с пантомимой, диалогом и вообще драматическим элементом — первичной стадии народного театра.

В Шампани, в Беарне, на Корсике до половины XIX века играли под открытым небом.

В Шампани народные спектакли социального характера.

У басков — пастораль, наивная пьеса, *pastoral d'Abraham*, полная забавных анахронизмов, отражающих современную эпоху...

Все это соединяется с отдаленной стариной, подлинной и прекрасной. Спектакли на открытом воздухе, инструменты национальные.

В Бретани — красочные, яркие, костюмные танцы, хороводы.

В Безансоне — марионетки.

Помню странствующий театр марионеток в Нормандии.

В Лангедоке и в Гаскони фарсы совершенно реального характера.

В Берлине в 1891 году — воскресные спектакли. Репертуар — комедии и фарсы; Мария Стюарт; Вильгельм Тель; Фауст; Ромео и Джульетта; драмы Грильнарцера; Ибсен; Шиллер; Гауптман; Писемский; Гоголь; Золя».

Далее следуют записи о создании в Сухуми студии живописи:

«Проект студии живописи. (Видимо, впоследствии его рукой приписано «институт» (Р.А.З).

I. Общая мастерская.

Рисование и живопись с натуры. Обязательная для всех учеников студии.

а) Класс изучения архитектурных стилей.

б) Класс анатомии.

в) Класс перспективы.

Обязательны для учеников общей мастерской.

II. Мастерская декоративной живописи.

а) Класс театральной перспективы.

б) Класс макетный.

в) Рисование и живопись с натуры.

г) Рисование на память».

И тут же — наброски лекций для учеников студии. <sup>СПИ/</sup>  
сок книг для чтения.

Между прочим, в 1958 году отец писал мне:

«Прошу тебя узнать, как я буду в Сухуми жить и смогу ли работать, т. е. заниматься рисованием и живописью в смысле преподавания».

Ему был 91 год.

А вот размышления А. К. Шервашидзе-Чачба об облике Сухуми и сохранении абхазских народных традиций:

«О красоте города.

... Внешняя красота города столь же необходима, как чистый воздух, солнечный свет, это душа города, без внешней красоты город — мертв...

...Мы живем среди народа с красивыми древними обычаями, с большой красивой внутренней душевной культурой и мы должны... делать город наш красивым. Ничего случайного, все обдуманно и все в расчете на общую гармонию.

...Нужно думать о родине прежде всего. Богатство родины — наше богатство».

«Мне чрезвычайно грустно, когда я думаю о том, что может исчезнуть все то, что так дорого ценишь в абхазах, вообще в горцах наших.

Я представляю себе их стройных, ловких, очень вежливых, с большим достоинством, молчаливых, умеренных во всем, стойких и твердых. В этом вся наша культура...»

«Нужно возобновить наши народные игры и состязания:

1. В мяч.
2. Метание камня.
3. Прыгание через препятствие.
4. Прыгание с большой палкой.
5. Бег.
6. Скачка и джигитовка.
7. Игра на лире.
8. Игра на скрипке.
9. Пение.
10. Танцы.
11. Состязание певцов.
12. Игра в городки.
13. Борьба.
14. Стрельба из лука.

Устроить хоровое пение, и театральное представление — соединить вместе».





В связи с этим, вспоминая свое детство, он пишет:

«Я помню, покойный мой отец делал мне очень красивые гладкие лук и стрелы, когда мы жили под Москвой. Он часто сидел и строгал ножиком палочки — вот и делал мне стрелы, кинжалы, ножи. Стрелы были очень гладкие, ровные, на конце утолщение и на этом утолщении оставлялась шкурка.

Затем он учил меня стрелять из лука. Я помню, большое удовольствие от этих упражнений испытывалось мною.

Нужно знать, что отец мой воспитывался, до отправления своего в Пажеский корпус в Петербурге, в горах.

Вот имя воспитывающей его семьи — Лакоия, или Лакоба».

Примечательно, что и сам отец во время своего короткого пребывания в Феодосии делал для нас и лук, и стрелы, и маленькие деревянные кинжалы, и даже разрисовывал их, чем приводил нас в восторг.

Большое место занимают записи, посвященные яфетическому языкознанию: теория профессора Н. Я. Марра, перечень трудов его, академика Бартольда, Н. С. Джанашия, Г. А. Рыбинского, Н. М. Альбова, М. Ковалевского, Кипшидзе, П. Чарая и др. Библиографический список литературы, содержащей материалы по истории Грузии и Абхазии. Приведу наиболее характерные выдержки:

«Лекции по абхазологии:

1. Археология Абхазии (доисторический период).
2. География и история Абхазии.
3. История религии абхазов и мифология абхазов.
4. Устная абхазская литература.
5. Яфетическая группа языков. Абхазский язык».

«Таблицы:

1. Население горного Кавказа по словарю изд. 1902 года.
- II. Абхазские племена в 30-х годах XVIII столетия.
- III. Хронологическая таблица истории Абхазии.
- IV. Абхазский календарь».

Несколько страниц посвящены переводам русских слов на абхазский, перечням абхазских мужских имен, абхазских богов, генеалогии рода Шервашидзе-Чачба.

В записях встречаются легенды и предания, заметки о древнейших следах человека, древнейшей культуры, песни. Вот один из нескольких вариантов песни из записной книжки:

«Пусть я умру  
За твою свободу,  
Мать моя Абхазия!  
Пусть я умру

За твою свободу,  
Брат мой абхаз!  
Наше равенство  
Превыше всего!»

А вот обращение к молодым абхазам:

«Юным абхазам, детям Страны Души.

Апснэ — твой древний клич звучит, как звук далекий, как эхо, как шелест листьев, как далекое и сладкое воспоминание, — о, мать моя Абхазия! — каким глубоким сном спят твои усталые сыны!

Пьянящий мёд твоих лесов, уклон холмов, украшенных цветами диких роз, и близких гор синеющая даль, и снег далекий, и шумный бег твоих потоков, и гладь озерных вод, лесов душистая прохлада и топких берегов зеленая оправа — о, мать моя Абхазия! — иди туда, к снегам, там виждь и внемли, и живи, чтоб каждый камень..., чтоб каждый поворот протоптанной тропинки, чтоб каждый новый облик родного смуглого лица, как смена утреннего неба, роняли свет свой благодатный в душе твоей и жадной, и пытливой».

Живя за рубежом, он внимательно следил за развитием и культурными достижениями нашей страны.

Он писал мне:

«Два номера журнала «Художник» я получил, по ним вижу, что у вас хорошие мастера, — рисунок безукоризненный, портреты очень полны жизни — словом, художники ушли много вперед...».

«У нас только кончился сезон Синема Международного, русский фильм опять и в этом году оказался лучший во всех отношениях — и по идее, и по содержанию, и по технике, и по талантам артистов, и по значительной человечности.

В Саппес была и одна артистка грузинка, Абашидзе, но я постеснялся затруднить ее и не попросил меня познакомиться с ней».

К письму была приложена фотография Лейлы Абашидзе, вырезанная отцом из газеты.

Постоянно посещая национальные библиотеки Европы, он разыскивал материалы, связанные с историей Грузии и Абхазии. Им составлен обширный библиографический список, несомненно представляющий большой интерес.



После Октябрьской революции неузнаваемо изменился облик Абхазии — расцвела и окрепла культура и экономика молодой республики.

УДК 37.013.53:42.0  
302.02.01.01.03.33

То, о чем мечтал мой отец, — все воплотилось в жизнь. Полностью разрешена проблема народного образования.

В Сухуми уже давно открыт Абхазский научно-исследовательский институт имени Д. И. Гулиа Академии наук Грузинской ССР, в создании которого большую роль сыграли Н. Я. Марр, С. Н. Джанашиа, Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа. Большой вклад в исследование истории, этнографии и экономики Абхазии внесли доктора наук Ш. Д. Инал-ипа, Г. А. Дзидзария, З. В. Анчабадзе, Х. С. Бгажба и другие. На базе пединститута в Сухуми создан Абхазский государственный университет. Работают институт экспериментальной патологии и терапии АМН СССР, награжденный орденом Трудового Красного Знамени и имеющий международное значение, Грузинский институт субтропического хозяйства, физико-технический институт, Сухумский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института чая и субтропических культур — ВНИИЧисК. Научно-исследовательскую работу ведет Сухумский ботанический сад АН ГССР. Созданы музыкальное и художественное училища. Функционируют: Сухумский государственный драматический театр имени С. Я. Чанба, который объединяет абхазский и грузинский коллективы; Абхазская государственная филармония; Абхазский государственный музей имени Д. И. Гулиа; дом-музей Гулиа Д. И.; картинная галерея. Большим успехом пользуется заслуженный ансамбль песни и танца Абхазии, который гастролирует и за рубежом. Успешно выступает хор столетних абхазцев «Нарта», Абхазское государственное издательство выпускает книги на абхазском, грузинском и русском языках...

Жаль, что отцу не удалось вернуться на родину.

Каким богатым опытом, приобретенным за столь долгую трудовую жизнь, мог бы он поделиться со своими коллегами! О скольких встречах с виднейшими деятелями культуры мог бы рассказать!

Покойся тело его в далекой земле Франции. Не исполнилось его последнее желание прикоснуться к родной земле. Но как же велика была жажда вернуться, если даже на фотографии жены, умершей в Каннах в 1948 году, он писал:

«...Могу ли я просить при случае о перенесении тела в Абхазию?..».



Нана МИРЦХУЛАВА

## У ИСТОКОВ

●

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА В ГРУЗИНСКОМ ИСКУССТВЕ

●

ИНТЕРЕС к портрету как к жанру на разных временных этапах развития искусства не был одинаковым, но никогда не ослабевал. Внимание к человеку, стремление запечатлеть его облик, попытки заглянуть в его внутренний мир характерны для многих художников разных эпох и национальностей.

В изобразительном искусстве Грузии портрет занимает особое место, ибо с этим жанром связано зарождение и становление станкового искусства, на эволюции портрета был осуществлен переход от древнего, средневекового к новому грузинскому искусству.

Задача настоящей статьи — обрисовать общую картину развития грузинского портрета конца XIX века, основываясь на характеристике творческого наследия первых грузинских художников, сформировавшихся в академической школе. Предвестником этой плеяды был Георгий Майсурадзе (1817—1885). До нас дошло мало работ художника. Но даже по нескольким холстам этого первого грузинского живописца, получившего профессиональное образование, можно судить о его творческих возможностях, о том, как совершенствовалось его мастерство.





В ранней работе «Портрет царевича Александра» (1839) еще заметны ученическая робость, профессиональная неуверенность. Портрет добросовестно и тщательно «списан». Небольшая голова царевича будто «утонула» в пышном мундире с высоким, подпирающим подбородок воротником, огромными эполетами, аксельбантами. Приятное молодое лицо спокойно-неподвижно. Только резко вправо устремленные зрачки создают ощущение внутреннего движения. Рисунок портрета уверен, но жесток, цвет локален и не всегда выявляет объем (так, голова при «скульптурно» вылепленном лбе кажется лишенной затылка).

Написанный через несколько лет «Портрет И. Чичинадзе» (1853)—более зрелое произведение, свидетельствующее о полном владении мастерством. Празда, художника не интересует сложность духовного мира модели. Правильное лицо с широким разлетом бровей, красиво изогнутая линия губ, мягко промоделированный светотенью овал лица, венчаемого пышной шевелюрой, — все здесь изобличает профессиональную руку художника, свободно владеющего линией, объемом, цветом. Четкость формы, полнота объема, уверенность линии — эти качества Майсурадзе блестяще усвоил у своего учителя К. Брюллова. Отголоски романтических тенденций — в цветовых контрастах (сопоставление темного мундира и белого жилета и сорочки, розового лица, темного фона и нашейного платка). Намек, а не отчетливая характеристика на сосредоточенно-задумчивое состояние модели также свидетельствует о влиянии романтиков. Хоть у Майсурадзе эти проявления не глубоки, не органичны для него, а всего лишь представляют результат следования манере учителя, они все же были шагом вперед на пути психологизации жанра.

Трудно предугадать, как сложилась бы судьба художника Р. Гвелесиани (1859—1884), если бы смерть не прервала так рано его творчество. До нас дошло несколько небольших живописных портретов Гвелесиани и несколько альбомов с зарисовками. (Все находятся в Гос. музее искусств Грузии). Альбомные рисунки носят чисто рабочий характер. Одни сделаны тушью, другие — мягким карандашом, иногда на листе расположено несколько беглых набросков, есть и большие законченные рисунки, где художник, располагая одну фигуру с ее антуражем, ставит перед собой более широкие задачи, чем простая беглая фиксация позы, жеста.

Гвелесиани явно не предназначал альбомы для показа, они отражают его внутренний мир, мир его интересов и творческих задач. Альбомные листы дают представление о людях, которые окружали художника. Это знакомые и близкие люди, открытые

для него в своих настроениях и мыслях. Они позволяли ему вплотную приблизиться к тонким и изменчивым переживаниям своих современников.

Благодаря тому, что Гвелесиани имел привычку точно датировать каждый рисунок, вплоть до часа создания, мы можем судить об интенсивности его занятий, об упорстве, с каким он работал. Сравнивая ранние произведения («Мужчина, опирающийся на костыль») с более поздними («Кахетинец с кувшином»), мы видим, какой колоссальный шаг вперед сделал художник. Прошло каких-нибудь три года, и от робкого, еще очень неумелого этюда Гвелесиани пришел к законченной работе, соединяющей в себе признаки портрета-типа и жанра. В промежутке между этими работами лежат альбомные зарисовки, которые также отражают процесс формирования Гвелесиани в зрелого мастера. Говоря «зрелого», мы имеем в виду не только формальную сторону. Работы Гвелесиани свидетельствуют и о его мировоззренческой зрелости. Гвелесиани уже стоит на одной ступени с моделью, он ощущает свое право, право художника заглянуть внутрь души изображаемого.

В рисунках «Агафья» и «Рокотов, сидящий за столом» художник фиксирует длительное состояние человека, целиком поглощенного делом. И в том, и в другом рисунке даны детали интерьера, необходимый антураж, помогающие создать настроение покоя, тишины. Фиксация определенного состояния модели (в данном случае человека занятого, как бы отрешенного от всего окружающего) — это есть уже подступы к изучению характера.

Спокойное, стабильное состояние человека, погруженного в свои мысли, сосредоточенного занятием, — мотив, многократно встречающийся в альбомных рисунках Гвелесиани; он нашел продолжение и в живописных работах того же года. К ним относятся «Портрет однокурсника» (1883), «Женщина, читающая у окна» (1882). Все они по сути являются разработкой одной темы; хотя модели в каждой работе разные, художник решает их в разных композиционных вариантах, постепенно усложняя задачу, доводя портретное изображение до границы бытового жанра.

В совершенно иной манере сделаны два других рисунка из альбома — «Рокотов в кресле» и «Рокотов стоящий». Хотя оба они изображают мужчину в состоянии покоя, но в обоих случаях есть ощущение мимолетности этого состояния. Кажется, человек, сидящий в кресле и записывающий что-то на листах, положенных на книгу, может в следующее мгновение откинуться глубже к спинке кресла, снять пенсне, устремить взгляд в пространство.



Поза, в какой стоит Рокотов, выражает и сосредоточенность, и какую-то растерянность. Видимо, он шагал, размышляя, оставившись от внезапно поразившей его мысли, вынул изо рта горящую сигару, но через мгновение может вновь шагать, продолжая думать о своем. Это впечатление большей динамики, меньшей устойчивости состояния создается в обоих рисунках особой графической манерой. Одной подвижной, непрерывной линией художник делает контуры фигуры, только в некоторых местах кладет параллельные штрихи, намечая складки одежды, создавая ощущение объема. Такая «беглость» карандашной зарисовки не идет в ущерб рисунку, наоборот, немногими средствами, не будучи «многословным», художник сумел сказать не меньше о состоянии человека, чем в предыдущих рисунках, в которых модель зафиксирована в более стабильном состоянии.

Но, видимо, художник чувствовал, что для познания личности, для портрета, раскрывающего характер, а не только состояние модели, ее сиюминутное настроение, необходим контакт, возможность «заглянуть» во внутренний мир портретируемого, увидеть его «раскрытым», а не отгороженным. Важно отметить еще одно обстоятельство, подсказанное рисунками из альбома. Научиться выявлять характер невозможно без умения передать мимику лица, схватить его не в состоянии покоя, а изменяющимся, подвижным. Анализ рисунков свидетельствует, что Гвелесиани понимал это и ставил перед собой подобную задачу. Среди рисунков, изображающих конкретных людей, есть группы, где дано иное размещение модели в плоскости листа, она сама не так замкнута в себе, художник показывает человека, может быть, не во всей сложности его внутреннего мира, но в каких-то основных свойствах его характера. Это рисунок пером, изображающий мужчину в военной форме, женщину из селения Манглиси. Особенно выразителен рисунок карандашом, изображающий молодого мужчину. Дана почти одна голова, лицо повернуто к зрителю, к нему же обращен и взгляд. В нем запечатлены движение, порыв.

Последний портретный рисунок, на который мы хотим обратить внимание, датирован 1834 годом и изображает молодую женщину. Интересен он тем, что художнику удалось, пожалуй, впервые столь удачно (а попытки эти он делал и на других листах) передать мимику лица, внутреннее движение, наполняющее душу женщины, схватить жизнь и передать ее не в состоянии покоя, а в динамике. Женщина оживлена, она разговаривает, улыбаясь, по ее обаятельному лицу скользят легкие тени, делаю его подвижным, меняющимся. По сравнению с предыдущими об-

разами модель не отличается особой глубиной характера. Но такого «живого» лица с богатой мимикой нет ни в одной другой работе Гвелесиани.

Интересно сопоставить манеру исполнения двух рисунков. В портрете мужчины карандаш Гвелесиани делает уверенные, четкие штрихи, они почти никогда не круглятся, даже овал лица очерчен ломаными линиями; резок контраст освещенных и затененных мест, плечи широко развернуты, голова будто «врублена» в лист бумаги, большая часть которого осталась белой. Художник здесь немногословен, никаких деталей, ничего лишнего.

В женском портрете лицо и фигура окутаны мягкой светотенью. Особенно тонко она проложена в лице. Его освещенные части выявляются фоном — большой заштрихованной плоскостью, где Гвелесиани провел прямые, почти слитые вместе штрихи; голова и торс исполнены круглящимися, плавными линиями или небольшими, как бы перетекающими друг в друга плоскостями. Подробно нарисованы детали платья — кружевная отделка, пышный рукав с белой манжеткой. При этом в рисунке нет сухости, натуралистичности. И не технические ухищрения сами по себе (трудно нарисовать тонкое кружево) важны художнику, а комплекс всех средств, помогающих создать образ.

Альбомные листы — важная веха в творчестве художника Р. Гвелесиани. В них реализуются все те навыки и находки, какие получены в процессе работы в течение каких-нибудь двух лет. Главным средством выражения в них становятся средства живописно-пластические. Но особенно важно — человек увиден художником иначе, чем видели его предшественники. Не протокольная точность черт лица, не сословная принадлежность интересует Гвелесиани, а внутренние качества, духовные силы, которыми располагает его модель.

Интерес к психологической характеристике модели обусловил появление композиций, в которых в прямоугольном пространстве холста изображается только одна голова (это живописные портреты Гвелесиани, изображающие художников Габашвили (1883), Беридзе (1882), армянского художника Лисициана (1884). Все они представляют портретные изображения в новом качестве и передают не временное состояние читающего или задумавшегося человека, а свойство характера — способность к внутренней сосредоточенности, самоуглубленность, духовную полноту. Модели будто «подставляют» себя для изучения, не боясь раскрыть свой





МБ  
302  
010333

внутренний мир, озаренный горением творческой личности. Мы не можем со всей категоричностью утверждать, что живописные портреты Гвелесиани — первые холсты, где ставится проблема психологического портрета. Но несомненно, что они — одни из первых.

Теперь обратимся к творчеству А. Беридзе (1858—1917).

Что же оно дало развитию грузинского портрета, каков его вклад в тот опыт, который накапливало это поколение грузинских портретистов? Художник сильного темперамента, он развивался не столь последовательно, в его творчестве были и подъемы, и срывы. Увлекаясь чисто живописными задачами, он «опускал» психологические, но каждая из решенных им проблем была шагом вперед. Оценивая в целом небольшое наследие живописца, необходимо отметить прежде всего расширение темы портретного жанра за счет изображения различного возраста моделей (он пишет и стариков, и детей) и социального их положения. Среди созданных им портретов — люди не только близкого ему общества (как у Гвелесиани), но и представители других социальных слоев. Дошедшие до нас работы Беридзе, не позволяют уловить эволюцию его творчества. Объясняется это, очевидно, влиянием разных педагогических систем (учеба в Петербургской академии, поездка в Италию). Иначе нельзя понять появление у него после нескольких работ, где стазятся чисто живописные проблемы, более графических, суховатых портретных изображений. Логичнее было бы, если бы эти работы следовали в обратном порядке. Рядом с портретами, ставшими заметной вехой на пути развития грузинского портрета, в его творчестве есть портреты, где выступают живописная жесткость, ограниченная этнографической характеристикой образов, отсутствие психологизма («Девочка, вяжущая чулок» (1892), «Мальчик, играющий на свирели» (1892).

Интересны холсты, где превалируют чисто живописные задачи при параллельном решении психологических задач. Например, в портрете «Мужчины в красном колпаке» (1882) активный красный цвет головного убора и нашейной косынки в сочетании с худым аскетичным лицом придает изображению напряженность и драматизм. Интересно, что и при «учебных» задачах в этюде передано состояние глубоко погруженного в свои мечты человека.

В других работах упор делается на передачу внешнего сходства, и модель выбирается в таких случаях явно для решения подобной задачи. В «Портрете старика в белом колпаке» (1881) — это старый человек сухощавого сложения. Его лицо — с глубокими морщинами и четкими заостренными чертами — прекрасный объект для передачи «характерности» внешнего облика. Ху-

дожник изобразил мужчину в профиль, в спокойном состоянии живопись холста пастозная, фактурными мазками положены блики, белый цвет колпака сложен и насыщен. Эта миниатюра — детельство зрелого мастерства, хорошей школы, но и здесь задачи психологические отступили у художника на второй план.

Иное в «Портрете улыбающегося старика» (1884). Здесь дается и определенное состояние, и характер. Старческое лицо растянуто в улыбке, она разгладила морщины, «сместила» их, сделав лицо подвижным. В немного откинутой голове старика, в прищуренных глазах, где сверкают искорки, чувствуется веселый, «легкий» характер. Интересно в этом портрете едва заметное ассиметричное построение композиции. Голова, расположенная на вертикальной оси холста, немного отклонена к правому плечу, а фигура, данная погрудно, смещена под небольшим углом к плоскости холста. Подобный прием лишил изображение устойчивости, создал ощущение движения.

«Портрет девушки» А. Беридзе (1880) — произведение, ставшее заметной вехой на пути развития психологического портрета. «Портрет девушки» — небольшая работа, где крупным планом дана одна голова. Лицо девушки немного повернуто от зрителя, но прямо на него смотрят большие выразительные глаза. В этом взгляде читается затаенная грусть, погруженность в себя, отрешенность от окружающего. Эта противоречивость внутреннего состояния — с одной стороны стремление к контакту, открытость, с другой — одновременная отчужденность — наполняет образ особой сложностью, делает его неоднозначным. В портрете особенно «говорят» глаза, через них исходит внутреннее состояние модели. Деталей немного. Лицо, данное крупным планом, срезанное краями холста у шеи и затылка, не позволило художнику привлечь дополнительные «аргументы» к характеристике изображенной. Но тем значительнее каждый штрих, каждая «мелочь» на холсте. Красивый гладкий лоб, сомкнутые губы, не прибранные в прическу, чуть растрепанные волосы, тонкая шея, обрамленная небрежно отогнутым воротником, — все здесь говорит о человеке с изменчивым настроением.

В портрете есть недосказанность, художник избегает полной определенности, как бы подразумевает такую глубину души, к которой не всегда можно прикоснуться. Отсюда и ощущение трепетности, жизненности портрета. Этому впечатлению помогает живописная манера. Беридзе не стремится к законченности, к выписанности деталей, они придали бы портрету черты стабильности.





Развитие портретного жанра шло от трезвой точности внешнего облика к характеристике его внутреннего мира. Пройти подобный путь за столь короткий срок грузинское портретное искусство могло потому, что художники использовали опыт и завоевания мастеров разных эпох. Общение с коллегами в Академии художеств, знакомство с музейными работами, поездки в Европу, естественно, не прошли для них бесследно. Но это было не простое заимствование чужого опыта. Зрелое осмысление этого опыта находилось в прямой зависимости от личных качеств художников, от зрелости их мировоззрения, от роста их самосознания, той демократизации, которая уравнивала художника и модель.



**ГРУЗИНСКАЯ ЛИРИКА  
НА НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ**

В норвежском издательстве «Сулюм» (Осло) вышла в свет книга «Грузинская лирика».

В сборник вошли: фольклор, отрывки из поэмы Ш. Руставели «Витязь в барсовой шкуре», стихотворения Д. Гурамишвили, Ал. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе, А. Церетели, Важа Пшавела, Ал. Абашели, Г. Кучишвили, В. Гаприндашвили, И. Гришашвили, П. Яшвили, Г. Табидзе, Т. Табидзе, Х. Вардошвили, К. Надирадзе, Г. Леонидзе, С. Чиковани, Ир. Абашидзе, М. Мревлишвили, Гр. Абашидзе, А. Шенгелия, И. Нонешвили, М. Лебанидзе, А. Каландадзе, М. Мачавариани, Дж. Чарквиани, Т. Чиладзе, О. Чиладзе, Л. Стуруа. Сборник предваряют два предисловия,



авторы которых — составитель Хелен Краг и переводчица Аза-Мария Нессе — пишут о Грузии и грузинской поэзии. Книга эта свидетельствует о большом интересе, проявляемом во всем мире к грузинской поэзии.

**ДЕТЯМ ВОЕННЫХ ЛЕТ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ**

В ТБИЛИСИ состоялась премьера фильма одного из ярких представителей советской поэзии Евгения Евтушенко «Детский сад». Фильм этот — первая режиссерская работа известного поэта.

Режиссерский дебют поэта в кинематографии стал приятным сюрпризом для много-

численных его почитателей.

В фильме «Детский сад» Е. Евтушенко продолжил свою художественную линию, утверждающую гражданственность и патриотизм, полную лирики и светлого оптимизма. Фильм, посвященный Великой Отечественной войне, создан по сценарию самого же постановщика. В фильме снимались известный австрийский актер Клаус Мария





Бландауэр, актеры Н. Караченцев и Л. Марков, дети, люди разных профессий, а также сам Е. Евтушенко.

Создатель фильма так представил свою ленту: «Мне хотелось показать детей военных лет: ведь война была и воспитателем. Она наложила свой отпечаток на чистые души подростков, особенно остро заставляя ощущать их добро и зло, правду и ложь, тепло и несправедливость...»

Этот двухсерийный цветной фильм, выстроенный по законам эпической поэмы, глубоко метафоричен, насыщен поэтическими образами, фактами автобиографии. Особое построение создают стихи Е. Евтушенко, звучащие с экрана.

Премьера фильма прошла с большим успехом. Фильм произвел сильное впечатление еще и потому, что затронул одну из самых актуальных проблем современности, проблему борьбы за мир, за жизнь наших детей.

## ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

**СОВМЕСТНОЕ** заседание кафедры истории русской литературы и студенческого научного литературного кружка, посвященное 60-летию со дня рождения лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, секретаря правления Союза писателей СССР, писателя Юрия Бондарева, состоялось в Тбилисском педагогическом институте имени А. С. Пушкина.

Заседание вступительным словом открыла профессор В. Балуашвили, которая особо отметила, что героям произведений Ю. Бондарева

присущи напряженность внутренней жизни, жгучее беспокойство при соприкосновении с несправедливостью, равнодушием, фальшью.

С большим докладом о жизни и творчестве писателя выступила доцент кафедры истории русской литературы И. Натиашвили.

Доцент Р. Прилипко и член студенческого научного литературного кружка Л. Уджмаджуридзе разобрали важнейшие вопросы, поднятые Ю. Бондаревым в романах «Берег» и «Выбор».

## «ЖИЗНЬ НА ЛАДОНИ»

**ТАК НАЗЫВАЕТСЯ** роман Анны Агладзе, драматурга и прозаика, пишущего на русском языке, который недавно выпустило в свет издательство «Мерани».

В романе, написанном на современную тему, повествуется о жизненном и творческом пути героини, о невзгодах, радостях, удачах и ошибках, неизбежных в жизни каждого человека.

Роман «Жизнь на ладони» охватывает события со времен Гражданской войны до наших дней.

## ШЕКСПИР НА ГРУЗИНСКОМ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО** «Хеловнеба» завершает работу над вторым томом пятитомного собрания сочинений В. Шекспира на грузинском языке. Недавно вышел в свет первый том этого издания. В него вошли «Генрих VI» (перевод Г. Джабашвили, художник З. Нижарадзе), «Ричард III» (перевод И. Мачабели, художник Л. Шенгелия), «Тит Анд-

роник» (перевод М. Заалишвили, художник Н. Игнатов), «Комедия ошибок» (перевод А. Гахокидзе, художник Дж. Лолуа), «Укрощение строптивой» (перевод С. Пашалишвили, художник Д. Челидзе), «Два веронца» (перевод Г. Гачечиладзе, художник М. Малазония).

Это издание будет первым полным собранием сочинений великого английского драма-

турга на грузинском языке. В пять томов войдут все переводы, осуществленные И. Мачабели, среди них и «Король Лир», переведенный им совместно с И. Чавчавадзе. Пяти томник полного собрания сочинений В. Шекспира выходит под общей редакцией Н. Киашвили. Ему же принадлежит обзор жизни и творчества драматурга, помещенный в первом томе.



---

На I стр. обложки: репродукция с картины Е. Ахвледзиани «Дом на скале».

---

Сдано в набор 4.II 84 г. Подписано к печати 11.IV.84 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. УЭ 08728. Тираж 6.050 экз. Заказ 366. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.



Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

**ТЕЛЕФОНЫ:**

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

---

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ**  
Тбилиси, ул. Ленина. 14.

65 к

6 104 /  
62

ИНДЕКС 7517

УДК 62-50  
62-50.000.00

